

Вл. Николаев

**ТРЕТИЙ
ПРЫЖОК КЕНГУРУ**

Вл. Николаев

Третий прыжок кенгуру (сборник)

«Спорт»

1974, 1988

Николаев В.

Третий прыжок кенгуру (сборник) / В. Николаев — «Спорт»,
1974, 1988

ISBN 5-94299-107-3

История повести «Третий прыжок кенгуру» неожиданна – отец писал ее в Переделкино в доме творчества писателей, работал с удовольствием, даже, как он сам говорил, весело. А вот в издательстве «Молодая гвардия» столкнулся с проблемами: то началась перестройка и «борьба с пьянством», а потому попросили убрать всякие упоминания о выпивке, потом кто-то сказал, что редактор популярного журнала узнает в повести себя и обидится, потом рецензент увидел упоминание о КВН и «обратил внимание», что передача на телевидении была закрыта. Словом, грустная история. Но рукопись в ее первоначальном виде лежала у нас дома, и я рад, что ее час настал. Конечно, кто-то скажет, что нет в ней фантастики, так и «Гиперболоид инженера Гарина» после изобретения лазера перестал быть фантастикой. Но в ней есть главное – время, в котором многие из нас жили. Вторая повесть, в общем грустная, тоже о главном – о времени и о людях разных принципов. В какой-то степени она ставит философский вопрос – можно ли жить по правде и быть ей верным, при этом еще и достойно существовать. Можно, но трудно. Об этом знал мой отец, который и поделился этим опытом. Всеволод Кукушкин

ББК 84-44

ISBN 5-94299-107-3

© Николаев В., 1974, 1988

© Спорт, 1974, 1988

Содержание

Третий прыжок кенгуру	6
Глава первая,	6
Глава вторая,	13
Глава третья,	24
Глава четвертая,	32
Глава пятая,	43
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Вл. Николаев
Третий прыжок кенгуру (сборник)

© Кукушкин В. В., текст, 2007

© «Олимпия Пресс», 2007

Третий прыжок кенгуру **Повесть фантастическая, отчасти** **сатирическая и несколько даже детективная**

Глава первая, **весенняя, радостная, в которой автор** **представляет главных героев своей повести**

В синий-синий апрельский день шальное солнце с такой беззаботностью гуляло по безоблачному небу, что похоже было на сбежавшего с уроков бедового ученика. В тот прелестный день и в самом деле с уроков сбежало рекордное число школьников. Среди них на этот раз оказались не одни отъявленные второгодники и закоренелые бездельники, без особой охоты переползавшие в следующий класс, но и те, кого в школьном обиходе принято называть «хорошистами», и даже некоторые отличники.

Да что школьники, служащие разных учреждений тоже под влиянием неведомой силы не могли усидеть за своими столами и под разными предложениями разбежались кто куда. Разморенные первым весенним теплом, одни бесцельно слонялись по обласканным солнцем улицам, других все больше влекло в парки и скверы, где едва-едва начала зеленеть трава, а деревья стояли еще совершенно голые, хотя в их кронах и ошалело орали возбужденные грачи, третьи неведомо каким образом оказались даже за городом в чистом поле, где над парящей в теплой истоме землей дрожало зыбкое марево, а в режущей глаза синеве неумолчно рассыпались трели невидимого жаворонка. Уж в чистом-то поле городским служащим вроде бы и вовсе ни к чему быть. Я не знаю, зачем они туда устремились. Если бы кто их спросил об этом, уверен, они и сами затруднились бы с ответом.

Словом, весна взбудоражила всех или почти всех. Город радостно оживился, как в канун большого праздника, когда все бегают, высунув языки, за всевозможными покупками в ожидании неизбежных гостей. Охватившее всех возбуждение было похоже еще на то суетливое беспокойство, какое овладевает истинными болельщиками в день большого футбола. Правда, в такой день учреждения под самыми невероятными предложениями покидают преимущественно мужчины, а на этот раз от них не отставали и женщины.

У кого-то из читателей может сложиться впечатление, что автор хватил через край, изображая дело таким образом, будто, ошалев от внезапно нагрянувшей весны, люди взяли и вот так, не давая ни себе, ни другим и в особенности начальству отчета, сбежали подобно безответственным ученикам со своих добросовестно насиженных мест. Нет и еще раз нет. У каждого нашлись для этого причины, веские, обстоятельные, каждому понадобилось отлучиться по делу, и даже по весьма важному делу. Так по крайней мере думалось. И первым побуждением каждого было непременно явиться в то учреждение, куда приспичило навеститься именно сегодня. Не завтра и не послезавтра, а непременно только сегодня.

Если в другие дни, не застав нужное лицо, посетители обычно гневались и выражали свои отрицательные эмоции по этому поводу довольно бурно, то сегодня они этому от всей души радовались. Тут же с восторгом устремлялись снова на оживленную весеннюю улицу, в душе понимая и оправдывая каждого, кого не оказалось на месте – весна же!

Ах, что за чудо молодая весна! Волшебнo обновляя примелькавшуюся, как бы постаревшую и смертельно надоевшую за зиму улицу с некрашеными домами, она повелительно обращает наше внимание на то, что больше решительно невозможно мириться с затхлостью про-

мерзших помещений, с их поблекшими красками, наконец, с их каменным равнодушием ко всему живому и радостному.

В такой день первого лихого разгула молодой весны с треском распахиваются прочно заклеенные с осени окна и даже страдающие застарелой почечнокаменной болезнью и по причине этого постоянно находящиеся в несговорчиво-ворчливом состоянии начальники без колебаний и возражений утверждают явно завышенные сметы на срочный ремонт. А иные-прочие откальвают и кое-что похлеще. Скажем, с неожиданного согласия угрюмого бухгалтера, за двадцать лет службы ни разу не выдавившего из себя даже скупой улыбки, единым росчерком пера утверждают очевидно неразумные расходы на устраиваемые по явно надуманным поводам валтасаровы пиры, в просторечии именуемые товарищеским чаепитием, а в документах обозначаемые как оплата каких-то там работ по безлюдному фонду. В такие дни легче легкого выпросить неоправданную командировку даже у самого строгого начальника хоть на юг, в Сочи или Гагру, хоть на край света, хоть за границу!..

И всему виной весна, ее магический зов, переворачивающий сердце и все остальные чувствительные органы.

Но задумывались ли вы, к чему зовет весна? Ведь и вас она увлекла, и меня, признаюсь, сманила. А куда? Я роюсь, роюсь в памяти и решительно ничего такого припомнить не могу и готов со всей прямоотой заявить: а черт знает куда! Помню, просто не сиделось на месте, прямо удержу никакого не было, не хотелось работать, читать, писать, влекло шататься, брести куда и зачем попало, хотелось до обалдения смеяться и быть счастливым.

И, представьте, я смеялся и был счастлив. И думаю, это удавалось не одному мне. Взять хотя бы, к примеру, хорошо знакомого мне Никодима Сергеевича Кузина, счастливейшего из счастливых в тот день.

В этом месте иной читатель может сказать, а если не скажет, то с осуждением подумает: вот имечко для героя откопал автор! А я ничего не откапывал. Я лишь стараюсь как можно ближе держаться действительности. В ту пору, когда родился мой герой, едва ли не всех охватила повальная мода на иностранные имена, мудреные и звучные, а порой и заковыристые, такие, чтобы не каждый с первого раза выговорил. Нет, ты потрудись, попотей, прочувствуй, что не с простым каким-нибудь Иваном имеешь дело, а с отпрыском тех, кто кое-что знал, смотрел на мир, так сказать, просвещенным взглядом.

Общепринято считать, что мода распространяется с быстротой эпидемии и захватывает всех. Что говорить, действительно быстро. Но не так легко, как это кажется на первый взгляд. Почти всегда находятся такие, кто сопротивляется моде, не принимает ее, борется с ней, не щадя живота своего, и даже пытается запретить. На некоторое время рождается нечто вроде антимоды. Ах, вы даете только иностранные имена, так мы раскопаем самое что ни на есть русское и старомодное! Какое все давным-давно запамятовали.

Вот так примерно и досталось нашему герою не столь созвучное наступившей эпохе имечко. Обладатель его, надо сказать, не слишком страдал от этого, хотя и не очень благодарил родителей. Друзья и знакомые звали его, включая с опозданием осознавших свою оплошность родителей, просто Димой, а сослуживцы – Вадимом Сергеевичем, что вполне устраивало самого Кузина, а всех остальных и подавно. Убеждать кого-либо в том, что это так, по-моему, не смысла, – у каждого пред глазами примеров подобной корректировки имен хоть отбавляй. В наше время это дело обычное.

Но оставим разговор об имени героя, не столь это и важно, лучше посмотрим на него самого. А сам он в этот день даже в многолюдной толпе веселых и счастливых мог быть признан одним из самых веселых и счастливых. Обычно серьезный и сосредоточенный, как и подобает быть сугубо деловому человеку, на этот раз Никодим Сергеевич, сияя беззаботной улыбкой, размашисто шагал в расстегнутом, серого дорогого велюра пальто и сдвинутой на затылок

модной шляпе. Цветастое кашне, добротный костюм-тройка и новенькие ботинки на толстой белой подошве довершали его одеяние.

Не спешите заключить, что перед вами записной модник или, хуже того, эдакий легкомысленный пижон. Ничего похожего. Перед вами человек, даже не придающий особого значения костюму, но имеющий возможность одеться со вкусом и понимающий, что добротная одежда во всех случаях не в укор. Да и положение, как вы скоро убедитесь, обязывало Никодима Сергеевича всегда выглядеть солидно, как и подобает человеку его ранга.

Впрочем, сейчас нам важно отметить лишь то, что Кузин в этот радостный весенний день выглядел весьма импозантно и находился в самом добром расположении духа. Сияющий взор его был устремлен сразу на всех встречаемых и ни на кого в особенности. И тем не менее едва ли не каждая из возбужденных весной особ принимала взгляд импозантного мужчины на свой счет и в свою очередь старалась ответить ему благосклонным вниманием.

Но Никодим Сергеевич ничего не замечал. В голове его в этот яркий день особенно легко рождались удивительные идеи, недоступные обыкновенным смертным, в особенности тем, кто не имел возможности подняться на высоты современной технической мысли.

Теперь я чувствую необходимость сообщить, кто же такой мой герой. Никодим Сергеевич Кузин – член-корреспондент и лауреат, кибернетик и электроник с самым широким диапазоном современных знаний. Если он и не энциклопедист, то только по одной совершенно извинительной причине – по той, что в наше время решительно невозможно быть энциклопедистом. Никодим Сергеевич, как выражаются знатоки научных кадров, штучный, то есть не имеющий себе равных, специалист и не в качестве такового пользуется неоспоримым авторитетом не только в самых высоких научных сферах родного отечества, а и за его пределами.

Вы спросите, почему же такой ученый не академик, а всего лишь член-корреспондент? Очевидно, лишь потому, что еще не пришел срок. Другой причины я не вижу. Хотя самоуправно я и мог бы произвести Никодима Сергеевича в академики, но не делаю этого лишь потому, что не намерен ни в малейшей степени отступать от действительности.

И все же я уверен, и после такой аттестации почти любой скажет: каждый на месте Никодима Сергеевича был бы счастлив и весел не только в этот исключительно солнечный день молодой весны, а и во все остальные триста шестьдесят четыре дня года.

И на это можно сказать – не спешите, не торопитесь с выводами. Мы еще узнаем, что и пред такими, как наш благополучный во всех отношениях член-корреспондент Кузин, жизнь, случается, заволакивает ясное небо хмурыми тучами. И таким свое лихо отпущено. Не напрасно еще не нами замечено: добро пешком ходит, а лихо на коне скачет. Словом, со всеми все бывает.

Я отнюдь не хочу навести на мысль о том, что в описываемый радостный день наш герой, несмотря на свой вызывающе благополучный и счастливый вид, был отягощен какими-то тяжелыми заботами или, еще того хуже, крупными неприятностями. Ничего подобного! Никаких несмотря. Рискну утверждать большее: Никодим Сергеевич как раз в этот день был совершенно счастлив и определенно беззаботен, что бывает с ним совсем уж редко.

И даже шагавший ему навстречу, впрочем, абсолютно не подозревая этого, некий Аскольд Чайников – уж ему-то, сверстнику Никодима Сергеевича, родители выкопали имечко не то что помоднее, а скорее подальше от простоты, – так вот, даже Аскольд Чайников, внешне никак не производивший впечатление счастливого человека, а на чей-то поверхностный взгляд был даже явно обижен судьбой, чувствовал себя сегодня куда лучше, чем вчера, позавчера и даже на прошлой неделе. А это, согласитесь, можно считать определенной степенью того неопределенного понятия, которое мы обозначаем словом счастье. И на Аскольда действовала весна, и он не представлял собой исключения. Что же такого, что он одет похуже не только Никодима Сергеевича, а и многих других встречаемых. Пальто на нем хотя и импортное, но из

какой-то неопределенной ткани, явно не слишком искусного синтетического происхождения, к тому же выдавшее виды, застегнутое всего лишь на две болтающиеся пуговицы.

И в таком одеянии вид у Аскольда Чайникова лихой. Ворот слегка приподнят сзади, грудь распахнута так, что хорошо видна жилистая трудовая шея, обмотанная скрученным-перекрученным дешевеньким цветастым кашне. На голове не дорогая фасонистая шляпа, а всего-навсего лохматая, потертая на сгибах ушанка из отходов цигейки. Но и она задорно сдвинута на затылок. А на башмаки Чайникова лучше не смотреть. Они еще вполне крепкие, но так давно чищены, что кажутся покрытыми не только грязью, а старой плесенью. Жена Аскольда, как говорится, выше головы занята детьми и хозяйством, ей, бедной, не до внешности мужа, а самому Чайникову следить за ботинками как-то и ни к чему.

Аскольд идет не столь размашисто, не улыбается широко встречным, взор его не горит и не устремлен вперед, а наоборот, даже несколько обращен в себя, и на лице такое выражение, будто обладатель его неожиданно выиграл в лотерею пятерку и решил не сообщать об этом жене. Никакой пятерки Чайников не выиграл, он и лотерейных билетов давным-давно не покупает, но весна и ему уделила толику радости, и он, живая поэтическая душа, под ее влиянием обалдело бредет, тихо радуясь чему-то. Не так часто в последние годы посещает его радость.

Бедняга и не подозревает, что через каких-нибудь десять-пятнадцать минут хорошее настроение его не только не убавится и не померкнет, а напротив, станет еще лучезарнее. Но не будем спешить, хотя мы к этому и приучены едва ли не с пеленок и спешим обычно без всякой надобности, единственно в силу укоренившейся, что там укоренившейся, прямо-таки вьвшейся в нас привычки.

Никодим Сергеевич Кузин шагает, не обращая внимания ни на кого из прохожих в отдельности, его внимания не привлекают даже кое-где загодя убранные к новому сезону витрины, не останавливают броские рекламные афиши, он, как и все прочие, опьяненный сладким весенним воздухом, просто шествует по главной улице в густом потоке праздных людей. К архитектурному облику самой оживленной магистрали, как и многие из нас, грешных, он давно привык, поэтому ни одно сооружение не привлекает его внимания, он воспринимает окружающее не в отдельных частностях, а в устойчивой целостности. Такое восприятие не позволяет рассеиваться вниманию.

Словом, Никодим Сергеевич весь во власти приятного возбуждения. Он и на людях, но как бы одновременно и уединен. Тут сказалась выработанная годами привычка абстрагироваться от окружающей среды и сосредотачиваться на рождающейся в сокровенных глубинах подкоркового вещества неожиданной и заманчивой мысли. Случалось, что мысль и настроение диссонировали, тогда Никодиму Сергеевичу приходилось туго, он нервничал, даже мучился, а сейчас все слилось в той редкой гармонии, когда одновременно отличнейшим образом думалось и чувствовалось. От этого хотелось петь что-нибудь этакое особенное, бодрое и веселое, и если бы запелось, то мыслей это не спугнуло бы.

Аскольд Чайников тем временем продолжает шагать переулком, под прямым углом выходящим на центральную магистраль. Идет не размашисто, а семенит мелкими, чуть подпрыгивающими шажками, будто хочет побежать, но никак не решится на это. И голова его не вскинута гордо, а наоборот, даже несколько опущена, и по давней привычке подмечать в окружающем детали и частности он нет-нет да и вскинет взгляд, к примеру, на привлекший чем-то его взор затейливый фасад старинного особняка, оглядит его пристально из-под очков, точно впервые увидел, хотя проходил мимо него тысячи раз и, конечно же, не однажды замечал и пристально оглядывал. Может Аскольд и неожиданно остановиться, zalюбоваться капелью, удивиться яркой синеве небес, выступающей из-за геометрического среза крыши. Нет, нет, Аскольд Чайников в отличие от нас с вами не спешит и не намерен спешить, он давно отвык от этого. Как ни покажется странным, но, поверьте, есть еще такие люди, сохранились еще и в наш стремительный и, как многие считают, сумасшедший век.

Как бы человек ни двигался – быстро или медленно, пусть даже с остановками, если он идет, то неизбежно преодолевает пространство. Будь я автором школьного учебника арифметики, то непременно использовал бы данный случай для составления задачи о двух пешеходах, один из которых отправился из пункта А в пункт Б, а другой навстречу ему. Задача эта, как мне кажется, могла бы звучать примерно так: пешеход К. передвигается из пункта А в пункт Б со скоростью сто двадцать шагов в минуту – такой темп, как известно, медики предписывают для целительных прогулок, а Никодим Сергеевич, заботящийся не только о внешности, а и о здоровье, несомненно, придерживается разумных предписаний. Пешеход же Ч. движется из пункта Б в пункт А со скоростью никак не больше шестидесяти шагов в минуту, да еще, как мы знаем, с остановками неопределенной продолжительности. Пути двух пешеходов неизбежно пересекутся. Спрашивается, через какое время пешеход К. встретится с пешеходом Ч.? Понимаю, что задача не из простых. Только способные и хитроумные ученики смогут принять во внимание поэтически рассеянный характер пешехода Ч. и учесть неравномерный характер его движения: тут он, как известно, загляделся апрельской капелью, сколько он ею любовался, я и сам, признаться, не знаю; еще через несколько шагов его внимание остановила пестрая афиша, извещавшая о цирковом представлении, чего он не имел счастья видеть добрых двадцать лет. Дети Чайникова и те с годами все реже ходили в цирк, водила их туда все реже сердобольная и одинокая тетка, сестра жены.

Но, увы, я не пишу школьных учебников арифметики и, судя по всему, никогда этого делать не буду. Поэтому мне остается одно – поведать общепринятым языком о дальнейшем встречном движении Кузина и Чайникова. Если Никодим Сергеевич шествовал в заданном темпе – сто двадцать шагов в минуту, не уклоняясь и не отвлекаясь, то Аскольд Чайников двигался весьма неравномерно и, непредвиденно задержавшись у афиши о цирковой премьере, вполне мог в тот день и не встретить Кузина. К счастью, после рассеянного изучения цирковой афиши с Чайниковым произошло что-то такое, отчего он вдруг помчался по направлению к центральной магистрали со скоростью не шестьдесят и даже не сто двадцать шагов в минуту, а никак не меньше ста сорока! Что с ним произошло, какая муха, как говорится, укусила, я объяснить не могу. Просто констатирую сей факт, которому, впрочем, нисколько не поражаюсь, ибо он вполне в характере Аскольда Аполлоновича.

Теперь, пожалуй, самое время сообщить о том, что между импозантным Кузиным и невзрачным Чайниковым существует некая связь. Дело в том, что они друзья. Не очень близкие, но давние и преданные, как могут быть преданы друг другу однокашники, свято берегущие память о давних-давних школьных годах.

Встречаются они не часто, судьба развела их в жизни на почтительное расстояние, определив каждому совершенно разные сферы и уровни. Перезваниваются не чаще, чем раз в год. Выпадают годы, когда и этого по разным причинам не бывает. Видятся почти всегда случайно, ведь кроме старой дружбы ничто их не связывает, и тем не менее каждой встрече искренне рады. А повстречавшись, времени друг для друга не жалеют.

После этого мне не остается ничего другого, как сообщить, что Чайников, как и все прочие, ошеломленный весной, может быть, даже более других опьяненный ее теплым и ласковым дыханием, неизвестно почему поспешавший на последнем этапе со скоростью сто сорок шагов в минуту, выскочил на центральную магистраль с такой резвостью, что едва не сбил с ног размашисто шагающего, великолепно одетого и находившегося в самом лучшем расположении духа человека. Надо ли уточнять, что человеком этим был не кто иной, как Никодим Сергеевич Кузин.

В первую минуту Никодим Сергеевич торопливо отшатнулся, готовый с нескрываемым неодобрением произнести что-нибудь вроде: «Сумасшедший, куда вас несет!» или «Гражданин, можно было бы и поосторожнее, вы не один на улице!» Разумеется, Никодим Сергеевич

способен сказать и что-нибудь более содержательное, но разве так сразу найдешься, хотя ты человек образованный, начитанный и достаточно, можно сказать, эрудированный.

Однако на этот раз наш член-корреспондент вообще ничего не произнес, он лишь приоткрыл рот, намереваясь что-то сказать, но в тот самый момент он признал в невзрачном, с ураганной быстротой выметнувшемся из переулка человеке своего школьного товарища.

– Чайник, куда тебя с такой скоростью несет?

Опешивший Аскольд поправил съехавшие на нос очки, пригляделся, прищурившись, как это делают страдающие близорукостью люди, и, в свою очередь радостно воздев руки, растроганно закричал:

– Кузя, вот так встреча!

Каждая встреча у них получалась неожиданно, и при каждой встрече Аскольд Чайников выкрикивал именно эту фразу.

Как водится, после этого начались объятия, шаблонные вопросы – как жизнь, как дела, вздохи по поводу того, что идут годы, набирая бешеную скорость, и все ближе и ближе старость.

Впрочем, рассудительный Никодим Сергеевич скоро остановил этот поток трезвым замечанием:

– Ну, брат, о том, как дела и как жизнь, одним словом не скажешь, а уж парадоксы времени и тем более не объяснишь.

Аскольд охотно согласился со всем этим:

– Присоединяюсь и целиком и полностью подписываюсь под каждым произнесенным словом.

– Раз так, – подхватил ученый Кузин, – то нам совершенно необходимо завернуть в ближайшее кафе и там, в более или менее подходящей обстановке, выложить друг другу энное количество информации о жизни и делах.

Чайников с готовностью принял предложение. Такое бывало каждый раз. Встретившись, друзья обычно занимали в ближайшем кафе столик и принимались изливать друг другу душу.

Чтобы поведать об этих изливаниях, мне, по всей видимости, придется начать следующую главу. Я понимаю, что большинство читателей вправе сетовать на автора: разве про какой-то синий апрельский день целую главу, успел рассказать лишь про то, как шагали по улице каких-то два типа, нарочито замедлил темп повествования (читатель ныне пошел дока, он не хуже любого профессионала разбирается в том, как надо вести повествование, в каком темпе и проч.), до сих пор никакой ясности не внес, к чему все клонится, неизвестно, и, нате вам, уже следующая глава.

Я не намерен оправдываться или возражать против подобных упреков, скажу лишь, что, во-первых, как-никак я представил двух главных героев моей повести – сообщу по секрету: будут в ней и другие герои, которым предназначаются отнюдь не второстепенные роли, но всему, как говорится, свое время, – во-вторых, в дальнейшем, я это обещаю со всей ответственностью, темп повествования ускорится, события будут следовать одно за другим, хотя еще раз замечу: куда нам спешить, да и разве автор не имеет права на раскачку, которой пользуются все и во всяком деле? И, наконец, в-третьих, что касается ясности, то тут не надо быть докой, чтобы признать давно признанное за автором право оставлять читателя в некотором неведении до самого конца, а в иных случаях даже и после него. Я отнюдь не намерен следовать во всем подобному правилу, хотя и отказываться от него полностью не соглашусь. Повесть моя отчасти фантастическая, прошу заметить, отчасти, и даже несколько детективная, но автор полон желания оставаться на почве незыблемого реализма и твердо придерживаться естественного развития событий.

И последнее. Во мне теплится некоторая надежда на то, что читатель и после всего этого будет хоть чуточку снисходителен в отношении промахов, допущенных автором в самом начале, тем более что никто не может застраховать нас от этого и на будущее. Будьте, друзья,

доверчивы и добры и вы не раз убедитесь в том, что это не так плохо не только для окружающих, а и для вас самих.

А теперь можно поспешить и за нашими героями.

Глава вторая, по-прежнему еще весенняя, но уже более грустная, в которой намечаются основные события повести

Пока Кузин и Чайников шагают в ближайшее кафе, пока они будут раздеваться и выбирать себе уединенный столик, за которым можно без посторонних отвести душу, я чувствую необходимость еще кое-что сообщить о наших героях.

Читатель несомненно догадался, что Аскольд назвал своего почтенного друга Кузей, а тот его в свою очередь Чайником по давней школьной привычке, когда они называли друг друга только так и никак иначе. Аскольда Чайникова вся школа звала Чайником, и это его нисколько не обижало, хотя и был он с самых малых лет обидчив, задирист и горяч и никому тогда обид не прощал. И Никодима Сергеевича сверстники запросто звали Кузей, никак не подозревая, кем он станет в будущем. Кличка, впрочем, никому не казалась обидной, она лишь выражала общую снисходительность к довольно тихому и очень способному ученику, который лучше всех успевал по математике и физике, получал грамоты на олимпиадах, прославляя тем самым и свою родную школу. Кузю одноклассники любили за то, что он при всех своих отличных успехах не задавался, охотно позволял списывать решения заковыристых задачек, а на контрольных решал трудные примеры за добрую половину класса.

Чайников же не отличался ярко выраженными способностями. Он с некоторым, и то лишь время от времени пробуждавшимся интересом относился к географии, истории и литературе, другие же предметы почти открыто игнорировал, вполне довольствуясь тройками. Но зато Аскольд не был обделен силой. Однажды он заступился за Кузю и так отволтузил обижавшего его верзилу из параллельного класса, что тот несколько дней не посещал школу, дома мужественно заявил, что покалечился, сорвавшись с забора, и больше пальцем не прикоснулся к одаренному Никодимчику.

С тех пор Чайник и Кузя сделались неразлучными друзьями. Собственно, в самом начале преданным другом был Кузя, в школьные годы сила почитается выше любых других доблестей. Юный математик делился со своим покровителем завтраками, беспрекословно выполнял за него домашние задания и почти всюду сопровождал. Чайнику порой это было даже в тягость, и он в этих случаях грубо прогонял своего преданного друга, особенно когда затевались слишком рискованные игры или дела, до которых, как он полагал, у Никодимчика нос не дорос.

Благонравный во всех отношениях Кузя тянулся к буйному Чайнику. Так оно в жизни чаще всего и случается. Иные авторы пытаются нас уверить в том, что образцовые ученики будто бы увлекают своим примером грозных непосед вроде нашего Чайникова. По справедливости так оно и должно бы быть. Но жизнь, как это ни странно, мало считается со справедливостью, и в действительности, увы, довольно часто случается почему-то наоборот. Я не берусь объяснять, почему происходит так, а не иначе, как хотелось бы нам, взрослым, столь озабоченным воспитанием подрастающей смены, а лишь отмечаю, как и положено реалисту, то, что более отвечает правде жизни.

Дружбе Кузи и Чайника пытались противиться сколько было сил учителя и родители, считавшие, что примерный ученик и расхлябанный оболтус уж никак не пара. Но из этого ровно ничего не выходило. Да до восьмого класса, если быть справедливым, никакой дружбы и не было. Кузя просто был влюблен почти без взаимности в своего сильного и бесстрашного друга, таскался за ним хвостиком, даже пытался в чем-то подражать. Чайник лишь снисходительно, и то изредка, замечал преданность аккуратенького, чистенького, без всяких усилий учившегося на одни пятерки Кузи. И только с восьмого класса завязалась настоящая дружба.

У Чайника вдруг совершенно неожиданно для него самого и тем более для окружающих прорезались литературные способности. Началось все с того, что наш Чайников (и это явилось для него полнейшей неожиданностью) смертельно влюбился в одноклассницу Наташу Колокольцеву.

Семь лет Аскольд и Наташа учились в одном классе, каждый день друг друга видели, и Чайник не только не замечал ничего в ней особенного, но даже, как говорится теперь, в упор не видел. А тут вдруг влюбился так, что при первом же удобном случае отглутил девчонку. Наташа Колокольцева не поняла смысла такого поступка и пожаловалась на Чайникова всем: старшей пионервожатой, классной руководительнице, родителям, только в комсомольское бюро почему-то не подала заявления. Чайнику, разумеется, и без этого влетело по первое число.

Незамедлительно последовавшее отмщение Аскольд посчитал не только несправедливым, а и чудовищно нелепым. Так истолковать самые возвышенные порывы души?! Это не только огорчило, но и потрясло.

Согласитесь, первый суровый урок того, как тяжело быть непонятым, когда твои намерения истолковываются столь превратно, способен ошеломить и не слишком чувствительную личность. И вот в таком состоянии, не давая себе отчета в том, что он делает, Аскольд Чайников всю свою горечь излил на бумаге. Да не в прозе, в стихах!

Рифмованные строки вылились как-то сами собой, вроде бы и без особых усилий автора, что удивило и обрадовало Чайникова. Настолько обрадовало, что невольный стихотворец не стал таиться, а поделился своим творением с товарищами. Печаль души таким образом была обнаружена и, надо сказать, не осталась неоцененной.

Юное дарование заметили и ему не дали заглохнуть. Сначала Чайникова вовлекли в школьный литературный кружок, затем направили в литературную студию дворца пионеров, где были собраны почти сплошь одни гении, честолюбиво возносившие себя друг перед другом. Чувство это пробудилось и у нашего Чайникова, и он постарался ни в чем не уступить своим товарищам-студийцам.

Школу Аскольд Чайников заканчивал уже подающим надежды молодым поэтом, что определило самую благожелательную снисходительность педагогов в оценке его скромных успехов. И одноклассники не остались равнодушны к расцвету юного дарования. Даже бедная Наташа Колокольцева, которую теперь в школе называли Натальей Гончаровой, горько сожалела о том, что в свое время не поняла возвышенных устремлений души юного поэта, правда, выраженных, как она все же считала, неподобающим и даже низменным образом.

Более других к славе своего покровителя оказался неравнодушен тихий и примерный Кузя, искренне считавший поэтические способности куда выше математических.

Триумфальным, можно сказать, был для Аскольда Чайникова выпускной вечер, на котором его уговорили читать подобающие случаю стихи собственного сочинения. Он, поломавшись, согласился и читал, завывая, как это делают маститые поэты. В тот вечер затмил всех отличников он, Чайников, оказавшись в центре всеобщего внимания, и был столь радушно обласкан всеми – педагогами и одноклассниками, что о другом таланте – Никодиме Кузине – почти забыли. Его упомянула в своем выступлении директриса школы, но поздравительных тостов и дружных аплодисментов он не удостоился. Впрочем, Кузя на это не сетовал ни тогда, ни даже позднее.

После школы пути друзей начали расходиться. Аскольд Чайников поступил, как и следовало ожидать, в Литературный институт, где, по убеждению многих молодых людей, готовят высококвалифицированных инженеров человеческих душ или уж на самый худой конец рядовых членов союза писателей.

Что же касается Никодима Кузина, то он прямой дорогой пошел на весьма прозаический по тем временам физмат.

Аскольд в учении не слишком преуспел, кое-как одолел два курса, но зато ухитрился выпустить сборник стихов. Известный критик в обзоре благосклонно отозвался о первых опытах молодого поэта, расхвалил одно из стихотворений, пообещав, что если автор будет упорно работать, его ожидают заметные успехи. Неожиданные похвалы так обрадовали Чайникова, что он почел себя чуть ли не гением. На трудившихся в поте лица однокурсников стал смотреть как на мелкоту, общение с которой ему ничего не дает и дать не может.

Первый ощутимый гонорар позволил молодому поэту чуть ли не на равных участвовать в застольях с известными и признанными мастерами стиха, которые, как выяснилось, далеко не все утруждали себя приобретением знаний, а брали преимущественно «нутром». Есть «нутро» – будешь поэтом, а нет – тут уж никакие знания не помогут. Чайников уверовал, что «нутро» у него безусловно есть, стало быть, о будущем нечего и беспокоиться. Решив так, ушел с третьего курса и зажил легко и вольно. Пошли литературные загулы, кружившие голову в прямом и переносном смысле...

Вслед за первым поэтическим сборником Аскольд с некоторыми интервалами, впрочем, не столь продолжительными, – шла очередная кампания по усиленному выдвигению молодых, – выпустил вторую, а затем и третью книжки стихов. Имя Аскольда Чайникова замелькало на страницах газет и журналов. К нему пришла если не громкозвучная слава, то достаточно лестная, вполне устраивавшая его известность.

В эту пору скромный младший научный сотрудник, каким числился в одном из академических институтов после успешного окончания университета Никодим Кузин, случалось, грелся в лучах славы своего школьного друга. Он еще по школьной привычке посещал литературные вечера, радовался успехам знакомого поэта, громче всех аплодировал ему. Во всяком случае в те годы, теперь уже сравнительно далекие, не Аскольд Чайников искал встреч с Кузей и время от времени напоминал о себе. Правда, молодой поэт охотно и без обидного снисхождения оказывал знаки внимания тихому и милому школьному другу, которому приятно было поддерживать отношения с добившимся признания поэтом.

Однако даже блеснувшая яркая литературная известность не столь прочна, как это может показаться со стороны. Звезда Аскольда Чайникова через некоторое время отчего-то стала тускнеть, тускнеть и чуть было вовсе не померкла. Из модного и щеголеватого молодца он как-то незаметно для себя и невероятно быстро для окружающих превратился в обрюзгшего и потертого, ничем не примечательного мужчину неопределенного возраста, на лице которого довольно отчетливо начала проступать печать довременного увядания.

Стихи Чайникова все реже и реже проскакивали на страницы журналов и газет, появлялись нерегулярно даже в ежегоднике «День поэзии», отдельными сборниками и вовсе перестали выходить. В редакциях его встречали с выражением досады на лице, которого не пытались даже скрыть, к оставленным стихам прикасались с большой неохотой, презрительно выдавливая: «Опять этот Чайник притащился!» – и отказывали даже в тех случаях, когда можно было бы и не отказывать.

Удивительно ли, что читатели вследствие всего этого стали забывать о нем. Даже в «Поэтическую тетрадь» на радио никто не писал просьб передать его стихи. Несколько раз он просил своих знакомых обратиться с такими письмами в адрес популярной передачи, но и из этого ничего не вышло – то ли знакомые отделались одними обещаниями, то ли литературная редакция радио на них не считала нужным откликнуться.

Тяжек удел забвения, особенно для ранимой поэтической души. Аскольд Чайников не желал с ним мириться. Что ж, не идут стихи, займусь прозой. И первый опыт получился, можно считать, удачным – тоненькая повесть о школьных проказах увидела свет, правда, сразу же по выходе подверглась разносной педагогической критике. Чайников на первых порах даже обрадовался этому, он рассчитывал на заступничество «Литературной газеты», которая, по его мнению, непременно должна дать хлесткий ответ продемонстрировавшим поразительно узкий

взгляд на художественную литературу, ее цели и назначение педагогам. Аскольд Чайников так был возмущен критическими наскаками зарвавшихся шкрабов, так распалил себя, что возмечтал о шумной полемике вокруг своей повести. Именно полемика ему сейчас более всего нужна. Следствием ее далеко не всегда бывает выяснение истины, но уж известность почти наверняка обеспечена. О герое полемики даже много лет спустя говорят: «Он в свое время прогремел». Чем и как прогремел – этого уже никто толком не помнит, да это и не имеет значения, важно прогреметь!

Но Чайников, к его большому сожалению, не прогремел. Защитительная заметка о его повести, и то не слишком хлесткая, а лишь с указанием на некоторые передержки, в «Литературной газете» действительно была набрана. Почти год ему обещали ее вот-вот опубликовать, но по каким-то причинам ей так и не нашлось места на газетной полосе. В полемике же отказали сразу и категорически. И вместо ожидаемой шумной известности Чайникова начало давить еще более тягостное забвение. С огорчения он запил, в подпитии стал несдержан настолько, что со всеми непоправимо испортил отношения и перестал печататься.

Отягощенный семьей и заботами, Чайников все же в конце концов образумился и начал промышлять переводами. Дела снова вроде бы стали потихоньку налаживаться. Но и в переводах Аскольд не слишком преуспел. Языков он не знал, национального уклада и характеров не изучал и даже не пытался, да и более мобильных братьев-переводчиков развелось столько, что Чайников тягаться с ними никак не мог.

Бросив переводы так же легко, как и прозу, Чайников снова взялся за стихи, ему удалось пристроить небольшую подборку в толстый литературный журнал «Восход» и даже сблизиться с его главным редактором Илларионом Кавалергардовым, человеком властным, решительным, пользующимся в литературной среде заметным влиянием, но не любовью и даже не дружеским расположением. Впрочем, последнее обстоятельство нисколько не беспокоило Кавалергардова. Он придерживался того мнения, что благодетельствованные друзья куда надежнее бескорыстных, ибо первые знают, за что и кому они обязаны, а если знают, то и служить должны преданно. Еще Илларион Варсанофьевич, достигнув власти, решил следовать и неукоснительно следовал бисмарковскому правилу: «Пусть не любят, но боятся».

Кавалергардова боялись, он это знал и был доволен. И решительной твердости Иллариону Кавалергардову было не занимать. Если он кого-нибудь из авторов отлучал от «Восхода», то отлучал раз и навсегда, а если к кому благоволил, то благоволил настолько, что этому не могло помешать никакое общественное мнение. Благодетельствованного Кавалергардовым автора могли ругать хоть все газеты разом, поднимать на смех на писательских собраниях, Кавалергардов все равно продолжал восхищаться своим любимцем и печатал все, что тот приносил.

Чтобы оградить Кавалергардова от слишком упрощенного понимания, должен заметить, что Илларион Варсанофьевич не всем одинаково благоволил, раздавал блага и милости в полном соответствии с заслугами и значением. Ни того, ни другого у Аскольда Чайникова не было, поэтому ему удавалось печататься в «Восходе» лишь от случая к случаю при стечении особенно благоприятных обстоятельств. А такое, хотя и случается чаще, чем, к примеру, парад планет, но все же довольно редко.

К тому же стоит заметить, Кавалергардов не слишком жаловал стихи, он их плохо понимал. По этой причине поэтический раздел в его журнале не очень процветал. Но для Аскольда Чайникова, немало, впрочем, полебезившего перед Илларионом Варсанофьевичем, хотя лебезивших постоянно было достаточно, ни для кого другого, а именно для Чайникова Кавалергардов сделал все же истинное благодеяние – распорядился зачислить его в штат редакции. Благодаря этому потерявший было себя поэт обрел под ногами, может быть, и не очень твердую почву, но все же некий клочок суши, на котором можно было держаться, обеспечивая прожиточный минимум семье, и даже снова добился некоторого положения в литературной среде.

В то время, когда у Аскольда Чайникова вышел второй сборник стихов, Никодим Кузин, как принято говорить в научных кругах, остепенился, то есть защитил кандидатскую диссертацию. И защитил с блеском. Диссертация почти незамедлительно была издана, что случается с такого рода работами совсем уж не часто. Обычно отпечатанные машинистками в установленном количестве экземпляров и любовно переплетенные, они затем мирно покоятся на полках библиотек. Если кто-то к ним и прикасается, так это чаще всего новые соискатели ученой степени и не столько даже степени, сколько прилагающихся к ней благ.

Блестяще защитившийся юный Никодим Кузин тут же получил должность старшего научного сотрудника академического института. Кибернетика, после некоторого гонения, быстро вошла в моду, практическая ее ценность становилась все очевидней чуть ли не с каждым днем, что усиливало энтузиазм молодых ученых, лидером которых как-то само собой оказался наш Кузин. Он работал увлеченно, результативно, его ценили и поощряли. В числе группы ученых Никодим Сергеевич удостоился Государственной премии и сделался вполне признанным авторитетом в своей области.

Должность старшего научного сотрудника, как известно, конкурсная, через определенный срок на замещение ее объявляется баллотировка, предпочтение может быть отдано претенденту с докторской степенью. Место Никодима Сергеевича вряд ли предложили бы какому-нибудь соискателю, настолько его ценили, но он все же счел для себя за благо поскорее защитить докторскую. В отличие от подавляющего большинства обладающих кандидатской степенью, всю последующую жизнь до глубокой старости бьющихся над докторской диссертацией, по большей части, правда, занимающихся собиранием материала, обдумыванием темы, составлением плана фундаментальной работы, а на поверку просто-напросто предающихся сладким мечтаниям, Никодим Сергеевич решительно и быстро приготовил действительно значительное исследование, опубликовал его отдельной книгой, а уж потом защитил ее на докторскую степень. Да и как было не защитить, если книгу мгновенно перевели и издали за рубежом, если она сразу после выхода в свет удостоилась лестных отзывов в научной периодике. Вскоре после этого Никодима Сергеевича с первого же выдвижения, что бывает крайне редко, избрали в члены-корреспонденты Академии наук, среди которых он оказался самым молодым.

Хотя слава и почести не испортили Кузина, в отношениях старых школьных друзей произошла существенная перемена: Чайников перестал быть покровителем Кузина, эта роль сама собой перешла к ученому, чья будущность оказалась куда постояннее кратковременного успеха незадачливого литератора.

Пока я вам сообщал все эти, возможно, и второстепенные, но все же необходимые для дальнейшего повествования подробности, наши герои уже заняли подходящий столик и даже, представьте себе столь невероятную вещь, успели дожидаться того, что официантка обратила на них внимание. Она это сделала, откровенно говоря, в тот момент, когда они только вошли в зал, но некоторое время все же продолжала наслаждаться беседой с подругой. Уж так заведено у нынешних официантов и продавцов, что они в упор не видят того, кого предстоит обслуживать. Но в этот раз то ли беседа была не слишком интересная и значительная, то ли официантке чем-то приглянулись новые посетители, но она неожиданно для себя соизволила сравнительно быстро подойти к ним и с рассеянным вниманием выслушать, чего им было желательно. А желательно было старым друзьям всего-то коньячку, лимончику, сырку и кофе.

Не буду задерживать ваше внимание несущественными частностями, описанием, к примеру, того, как Кузин и Чайников пили, как закусывали. Все это делают, в общем, одинаково, хотя и бессмысленно было бы отрицать присущие каждому хватки, манеру, привычный жест. Но уж такое ли это имеет значение? Что вам, к примеру, может дать упоминание о том, что Аскольд хорошо натренированным движением единым махом опрокидывал в рот рюмку коньяку, большим судорожным глотком проталкивал обжигающую жидкость в желудок, а затем, попридержав на несколько секунд дыхание, с видимым удовольствием выдыхал

коньячный аромат, наслаждаясь сразу блаженно разливающимся по телу теплом и крепким терпким духом излюбленного напитка.

И что может следовать из того, что Никодим Сергеевич, как истинный знаток и ценитель и как человек воспитанный, пил размеренно, потягивал, смакуя и закусывая, в отличие от своего друга, неторопливо, не стремясь к утолению голода, а лишь к чувственному наслаждению.

Из таких малозначащих деталей грешно было бы, на мой взгляд, делать какие-то, пусть даже самые незначительные, выводы в отношении наших героев. А впрочем, как вам будет угодно, если автор своевольным росчерком пера и может кое-кого к чему-то принудить, то освободить от закоренелых привычек он вряд ли властен.

Стремясь поскорее добраться до сути нашего повествования, не стану также передавать всего разговора, в продолжение которого Чайников и Кузин изливали друг другу души. Собственно, более всего изливал Аскольд Чайников. Жизнь его явно не баловала. К привычным семейным невзгодам теперь добавились и служебные. Илларион Кавалергардов был крутоват с сотрудниками, он строго взыскивал порой и за малейший промах, особенно если об этом становилось известно в руководящих инстанциях и оттуда вдруг звонили и предлагали разобратся. Редактор «Восхода» в таких случаях разбирался с быстротой молниеносной, он не желал слушать никаких объяснений сотрудников, по вине которых ему, главному, будто бы пришлось отдуваться и краснеть, хотя вся редакция отлично знала – чего-чего, а уж краснеть-то их Илларион, как звали его за глаза, разучился, должно быть, еще со школьных лет, а возможно, и еще и раньше. Промахи у Аскольда Чайникова, правду говоря, бывали. По большей части даже не промахи, а всего лишь в отдельных случаях слишком прямые, лишенные какой-либо дипломатии ответы, вызывавшие гнев и обиды отвергнутых авторов, не стеснявшихся и пошуметь и поскандалить, дойти до главного, а то и обратиться с прочувствованной жалобой в самые высокие инстанции.

Избежать этого, по правде говоря, не только нашему Аскольду, а и любому другому работнику на его месте при всем желании и самой искусной изворотливости не удалось бы. Надо заметить, что Кавалергардов облагодетельствовал Чайникова весьма своеобразно. Он не сделал его членом редколлегии, не посадил возглавлять поэтический отдел, на что Аскольд втайне надеялся, даже не назначил заниматься стихами, а, желая освободить сотрудников от второстепенной и утомительной работы и приглядеться к тому, какую степень преданности он выкажет, назначил заниматься редакционным самотеком.

Блажен тот, кому неизвестно само это слово! Для непосвященных кратко скажу: самотек – это мешки с романами, повестями, рассказами, поэмами, драмами, стихами и произведениями всех иных мыслимых жанров, но более всего со стихами, кои присылают в редакцию со всех концов обширного нашего отечества алкающие известности и славы. И с каждым днем число тех, кому известность и слава крайне необходимы, без них им и жизнь не в жизнь, растет не в арифметической, заметьте, не в арифметической, а в геометрической прогрессии!

Редакции тонут в этом самотеке, литсотрудники задыхаются, время от времени они вынуждены бросать самые срочные дела, чтобы в авральном порядке разгрести завалы самотека, кое-как прочитать, чаще всего, как принято в этих случаях говорить, пробежать глазами по диагонали и составить более или менее уклончивые, а главное, по возможности необходимые ответы докучным авторам. Но достичь этого полностью никак не удастся, – едва ли не всякий взыскующий славы феноменально обидчив. И сам факт, пусть изысканно вежливого, но отказа есть уже предостаточный повод для смертельной обиды, рождающей в свою очередь исполненные гневом жалобы, которые частенько принято адресовать не иначе, как куда-нибудь повыше. А там уже разбираться не станут – и без того дел полно, – тотчас потребуют развернутого обоснования отказа, над которым придется попотеть не менее, чем над дипломатической нотой.

Самотеком в «Восходе» много лет занималась женщина весьма скверного характера, но истинно машинной работоспособности. С завидной легкостью она разделялась с неиссяка-

ющим потоком самодеятельного творчества, время от времени даже извлекала из этого потока кое-что пригодное для печатания на страницах журнала. Сверх того, она состояла в многолетней переписке с не совсем безнадежными авторами, успевала следить за периодикой, была раньше других осведомлена о всех литературных и уж, конечно, редакционных сплетнях, к которым питала такую страсть, что ее за это не выносили даже самые невозмутимые сотрудники.

Страсть «мамаша Кураж» – таково было прозвище властительницы редакционного самотека – к собиранию и распространению сплетен со временем сделалась общественным бедствием: по этой причине в редакционной жизни неоднократно вспыхивали волнения и взрывы настолько оглушительные, что позднее, когда страсти утихали, мир казался самым желанным благом. Но, увы, благо это не было не только вечным, а даже и не столь продолжительным.

Доведенные очередным взрывом, вызванным пущенной мамашей Кураж сплетней, до белого каления сотрудники все поголовно и настойчивее прежнего обратились к Кавалергардову с такими отчаянными воплями оградить их от повторения подобного, что даже нечувствительный Илларион Варсанович, по-своему ценивший мамашу Кураж за конфиденциальную информацию, которой та охотно делилась со своим патроном, почувствовал все же, что какие-то меры необходимо принять. На этот раз редакционная общественность добилась лишь отселения мамыши Кураж от остальных сотрудников редакции. Для нее специально оборудовали под лестницей закуток, который назвали отдельным кабинетом, где можно было принимать сколько душе угодно шумливых авторов самотечных рукописей и даже наслаждаться одиночеством. Единственное неудобство состояло лишь в том, что работать приходилось при электрическом освещении. Мамаша Кураж стойко перенесла этот удар, тем более что сплетни стекались к ней непостижимым образом и через дощатые перегородки и с еще большей легкостью расползались не только по редакции, а и за ее пределы.

Мамашей молодую особу не назовут. Так что прозвище в данном случае указывало на весьма почтенный возраст властительницы редакционного самотека. А все люди почтенного возраста получают в свой час возможность отправиться на заслуженный отдых. В конце концов представилась такая возможность и мамаше Кураж, хотя она и не выказывала к этому горячего стремления. Но когда это все же произошло, такое событие в редакционных кругах встретили одновременно с восторгом и тревогой. С восторгом потому, что все ощутили близость давно желанной разлуки. А тревога сама собой заползала в сердца, когда по утрам почтальон местного отделения связи привозил иногда даже не один, а два и три мешка, туго набитых рукописями. У каждого сердце падало при мысли, что отныне этот самотек придется раскидывать на всех. Правда, наиболее мужественные сотрудники клятвенно заверяли, что если взяться как следует, то сообща как-нибудь можно заменить одну мамашу Кураж. Это мнение поддержал и Кавалергардов.

– Хватит барствовать, – сказал он при обсуждении этого вопроса, – распустились, понимаешь, теперь придется браться за дело. Засучив рукава. Беречь каждую минуту рабочего времени, а не ляды точить да перекуры устраивать через каждые десять минут.

Мамаша Кураж отличалась редкой льстивостью, отчего коробило даже самого Иллариона Варсановича, человека, как мы знаем, совершенно нещепетильного, он знал, что она и ему за спиной, случалось, перемывала косточки. Так что и у главного были причины желать вполне благовидного выдворения сотрудницы.

И все же вряд ли это произошло бы так скоро и легко, если бы сердце мамыши Кураж не дрогнуло, когда она достоверно узнала о том, что проводить ее решили с положенными почестями: местком расщедрился на дорогой подарок и постановил закатить по такому случаю прощальный банкет, а в приказе главного будут отмечены ее заслуги и даже поднесут почетную грамоту. К тому же в личном разговоре главный заверил, что и после ухода на пенсию, в сущности, почти ничего не изменится, – если мамаша Кураж пожелает, то по-прежнему смо-

жет заниматься самотеком, нового работника они брать пока не намерены, лишь платить ей будут не по ведомости, а по счетам. Только и всего. Мамаша знала достаточно о коварстве Иллариона, но на этот раз доверилась, считая себя совершенно незаменимым работником. Но незаменимых, как известно, нет. И мамаше Кураж довольно скоро пришлось пожалеть о своей доверчивости.

Месяца два она наслаждалась заслуженным отдыхом, а затем как-то завернула в редакцию, чтобы пополнить запас новостей и кое-чем поделиться с родным коллективом. Насчет самотека она дипломатично решила большого рвения не проявлять, – пусть без нее попляшут, – согласится только, поломавшись как следует, и то в порядке большого одолжения родной редакции.

Однако действительность более сурова, чем мы иногда предполагаем. В редакции мамашу Кураж встретили вполне вежливо, но и без особого радушия. Сколько-нибудь важных для себя новостей она не выведала, достоверно лишь узнала, что на ее место никого не взяли и даже не подыскивали. Самотек равномерно раскладывали на всех сотрудников. Те с большим трудом и с еще большей неохотой тянули непомерную тяжесть, рассматривая ее как крайне нежелательную нагрузку. Ведь журнал складывается отнюдь не из самотека – в нем печатаются на девяносто девять, а чаще и на все сто процентов произведения, написанные по заранее заключенным договорам известными авторами. Предложений и от профессиональных писателей более чем достаточно. И от них редакции постоянно отбиваться приходится. Словом, практически редакция не испытывает недостатка в материале, портфель ее так набит рукописями, что постоянно превышает физическую возможность использовать все, что в нем содержится. Из самотека на страницы журнала прорвется разве что за пятилетие какая-нибудь вещь, а часто и того не бывает. Таким образом, вся энергия сотрудников уходит на подготовку к публикации тех произведений, которые одобрены и давно ждут своей очереди. Именно поэтому на самотек сотрудники смотрят как на неприятную докучу.

Мамаша Кураж все это отлично знала и была уверена, что недолго ждать, когда пробьет ее час. Ей еще поклонятся в ножки и сделает это не кто иной, а сам Илларион! Но желанный час так и не пробил. Литсотрудники промучились месяца три, а затем дружно возопили к милости шефа, да так, что и того проняло. Кавалергардов тогда и распорядился зачислить в штат Аскольда Чайникова, только что подвернувшегося под руку и не упустившего случая продемонстрировать свою преданность. На него и спихнули самотек. Кавалергардова тронули не столько слезные просьбы литсотрудников, сколько систематические задержки со сдачей материалов, из-за чего все чаще летели ко всем чертям производственные графики и в конце концов «Восход» начал выходить в свет с таким опозданием, что его впору было переименовать в «Закат».

Поначалу Аскольд взялся за дело горячо. Его особенно вдохновляла отрадная перспектива регулярно получать зарплату, а не довольствоваться случайными и по большей части тощими гонорарами. Но довольно скоро убедившись, в какой воз его впрягли, и получив два суровых нагоняя от Кавалергардова, Чайников пришел к выводу, что благодеяние для него совершенно весьма сомнительное, к службе начал охладевать и тянул ее с отвращением, только в силу необходимости содержать семью и кормиться самому. Грустную повесть свою Аскольд со слезой выложил школьному другу, закончив горьким признанием:

– Веришь, забыл, когда стихи писал. Выматываюсь как последняя собака, иной раз едва до постели добираюсь. Кавалергардов при каждой встрече зверем рычит, поедом ест. К письменному столу и по выходным не тянет... Волком вою от такой каторжной жизни. И выхода не видно...

В продолжение длинного-предлинного монолога поэта о скорбной его судьбе Никодим Сергеевич пристальнее присматривался к школьному другу и проникался все большим сочувствием. Со времени последней встречи перемены в нем произошли если и не разительные,

то по крайней мере очень и очень заметные. Аскольд сильно сдал. На лице его обозначились резкие и уже достаточно глубокие борозды, свидетельство не только того, что жизнь теперь дается не с былой легкостью, но и преждевременно подкрадывающейся старости, особенно беспощадной не к одним невоздержанным людям, а и к неудачникам в особенности. Никодиму Сергеевичу сделалось искренне жаль своего друга, в сущности, не так еще давно сильного и ловкого, заносчивого и гордого, беззаботно и счастливо начавшего жизнь, а теперь вот как-то неожиданно обмякшего, словно перезревший гриб.

Кузин понял, что своими невзгодами на этот раз он поделиться не сможет. Да и что его невзгоды в сравнении с только что выслушанными. Судьба друга тронула настолько, что Никодим Сергеевич невольно с горечью подумал: вот он, ученый Кузин, кое-что успел сделать для людей и даже, можно сказать, для человечества, а может ли он, мобилизовав силу и волю, знания и опыт, помочь не абстрактным тысячам и миллионам, а вот этому, сидящему перед ним человеку, своему школьному товарищу? Легко жалеть человечество, а как бывает порой трудно облегчить участь всего лишь одного человека.

Эта простая мысль заставила содрогнуться сердце Никодима Сергеевича. Вглядевшись в измученное лицо друга, он спросил:

– К чему же, собственно, сводится твоя каторжная, как ты говоришь, работа?

– Сначала я думал, только к тому, чтобы одолеть кое-как эту прорву романов, повестей, рассказов, поэм, стихотворений, драм и черт знает чего еще! Читаю их, как еще в институте было принято, по диагонали, то есть перескакивая с одного абзаца на другой, не очень вникая в содержание. Ну и бывают проколы, черкнешь не тот ответ, который убедит автора. Жалобы не заставляют себя ждать. А жаловаться непризнанные гении умеют, стучатся во все инстанции. Приходится читать внимательно, и над ответами сидишь, как над дипломатической нотой. А суть моей работы сводится к тому, чтобы отделить зерно от плевел, отличить действительно способного от наглого графомана и в соответствии с этим сочинить убедительный ответ. Потеть и потеть приходится. Ну и зашиваюсь. Вечерами сижу как проклятый, а толку нет.

– Постой, постой, – перебил Никодим Сергеевич и повторил в задумчивости: – Значит, надо отличить даровитого от графомана, то есть определить степень одаренности?

– Именно так, – горячо подхватил Чайников, – ведь чем черт не шутит, во всей огромной куче может действительно оказаться жемчужное зерно таланта, а ты и не заметишь.

– Не заметишь, не заметишь, – механически повторил Кузин, придвинул к себе бумажную салфетку и начал рисовать на ней чертиков, верный признак того, что мысль его сосредоточена на какой-то непростой проблеме.

– Век технического прогресса, о котором столько шума, облегчает любой труд, даже шахты без шахтеров, слышал, будут, а наш литературный труд как был, так и останется каторжным, – сетовал Чайников. – Что нам дала техника? Шариковые ручки, пишущие машинки, в самое последнее время диктофоны, а природа писательского труда в основе своей осталась все та же, что и при царе Горохе...

– Это так, – рассеянно соглашался Никодим Сергеевич, – но тебе я, кажется, кое-чем смогу помочь.

– Уж не посадишь ли вместо меня читающую машину? Вот было бы здорово.

– Вот именно, читающую машину! – с энтузиазмом воскликнул Кузин. – И не просто читающую, а машина эта безошибочно определит достоинства художественного текста.

– Ну это ты хватил, Кузя, – недоверчиво ухмыльнулся Аскольд – алгеброй гармонию проверить?

– А что? – не сдавался Никодим Сергеевич.

– Это еще никому не удавалось. И до тебя находились чудачки, но они плохо кончали. Математика – мертвая материя, а поэзия, литература – живой цветок.

– Напрасно ты, Чайник, хулишь математику. Согласен ли ты с тем, что в жизни все подвластно науке?

Аскольд утвердительно кивнул.

– А известны ли тебе такие слова: наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой?

Чайников на это лишь развел руками, признавая – где мне знать?

– Так вот, запомни: это сказал Маркс. Сам Маркс, дорогой мой Чайник!

– И все равно то, на что ты намекаешь, – несбыточная фантазия!

– Отнюдь не фантазия, а реальность, – спокойно отрезал Никодим Сергеевич, – самая грубая реальность, как, к примеру, то, что мы с тобой сейчас сидим друг против друга. Можешь верить. Такая машина имеется в природе. Создана в нашем коллективе. Проведены внутрилабораторные эксперименты, и результаты самые обнадеживающие.

– Математическая машина с такими способностями? – переспросил изумленный Аскольд.

– Почему только математическая? При создании подобных систем мы давно используем данные лингвистики, социологи, семиотики, статистики, кибернетики, теории информации, теории моделирования, логики и прочая и прочая...

– И приходите к механизации, схематизации, примитивизации и так далее, – горько парировал Чайников.

– Успокойся, Чайник, ты начинаешь ругаться, а это, брат, не помогает истине, – дружелюбно улыбнулся Никодим Сергеевич.

– Нисколько не ругаюсь, – возразил Аскольд, – просто я смотрю трезво на твои научные фантазии. Вас, технарей, еще как заносит. И заядлому фантасту-писателю не угнаться.

– Трезвый взгляд – это по мне, это мне нравится. Если трезво посмотреть на литературу, то что это?

– Отражение действительности! – как на уроке отчеканил Аскольд.

– Даже больше: и одновременное ее преобразование в системе образов, – в тон ему добавил Кузин. – Заметь, в си-сте-ме! Так что же собой представляет литература с точки зрения анализа?

Чайников подавленно молчал, тоскливо чувствуя явный недостаток знаний для продолжения ученого спора, в котором никак не мог тягаться со своим высокообразованным другом. Аскольд всегда с горьким сожалением помнил, что он всего лишь недоучившийся студент. Когда он много писал стихов и активно печатался, это его не трогало; для поэта, полагал он, важен не диплом, не образование, а то самое «нутро», про которое ему некогда втолковывали. А вот теперь все ушло куда-то, вроде бы никакого «нутра» и не было, в минуты горьких раздумий он безжалостно укорял себя: недоучившийся студент, несостоявшийся поэт...

Никодим Сергеевич, не подозревая, какие бури бушуют в душе друга, захваченный своими мыслями, продолжал:

– Может, ты отказываешь науке в праве на анализ вашей изящной словесности?

Чайников в таком праве науке не отказывал и в знак этого отрицательно мотнул головой.

– Так вот, литература с точки зрения ее анализа всего лишь определенным образом организованный словарь. Уже упоминалось о системе образов. А со всем организованным и подчиненным системе, пусть самой сложной, наука всегда справлялась.

– Но ведь гении – это единичное, редчайшее явление! – простонал Аскольд и добавил: – Гений попирает все признанные и узаконенные нормы!

– Браво, Чайник, твои извилины еще не омертвели! Моя машина как раз потому и отличается гения от просто одаренного творца, от мастеровитого штукера и, наконец, от рядовой посредственности, и уж тем более от пустого графоманства, что учитывает присущую гению неповторимость, индивидуальное своеобразие, резкую несхожесть ни с кем.

– Да, но гениальность часто выражается в простоте, убийственной простоте, на первый взгляд, почти примитивной.

– Ты хочешь сказать, что гений выражает свое видение единственно точными словами, не расходуя лишнего словесного материала?

– Пожалуй, да.

– И это качество гения учтено нами.

– И все равно, поверить в это невозможно, чистая фантастика! – махнул рукой в отчаянии Аскольд. – Прости, друг Кузя, времени у меня, понимаешь, в обрез. Мне еще допоздна сидеть над этими треклятыми самотечными рукописями. Читаю, а одновременно думаю – не бросить ли все к чертям собачьим, чтобы снова взяться за стихи. Может, еще и улыбнется фортуна? А потом, не единым же хлебом живы поэты.

– Что касается поэтов, то ты, пожалуй, и прав, – согласился Кузин, – но у тебя семья, а она без хлеба насущного никак не обойдется. Так что повремени с уходом. Прими мой дар. Попробуешь, а там, если выхода не будет, бросишь нудную службу. Успеешь еще всех и вся послать к чертям.

Аскольд без видимого энтузиазма согласился с таким доводом.

– Может, тебе по-дружески подкинуть монет? – участливо спросил Никодим Сергеевич и повторил: – По-дружески.

– Не поможет, – горько покачал головой Аскольд.

– А то, как писалось в старых романах, мой кошелек открыт для друга.

– Люди говорят: берешь чужие, а отдавать приходится, к большому сожалению, свои. Колоссальное неудобство. Так что спасибо, дружище.

Друзья допили, Никодим Сергеевич с учтивой улыбкой рассчитался. И они разошлись.

Глава третья, в которой рассказывается о начале событий, послуживших основой ЭТОЙ повести

Может, это и покажется кому-то странным, но первоначальное скептическое отношение Аскольда Чайникова к заманчивому предложению друга облегчить адский труд умной машиной начало улетучиваться. Не то чтобы он окончательно поверил в реальность заманчивого обещания, но мечта о чудесной машине все чаще грела измученное сердце поэта. «Как было бы здорово, если бы и в самом деле такое оказалось возможно», – мечтал Аскольд, сидя в своем кабинетике под лестницей.

Самотеком он теперь занимался с еще большим отвращением. А занимался потому, что заявление об уходе подать никак не решался. Гора рукописей угрожающе росла, и Чайников чувствовал, что вот-вот его потребует к ответу сам Кавалергардов. Главному регулярно подавались рапортчики о входящей и исходящей редакционной почте. Входящая выражалась трехзначными цифрами, грозившими в самое ближайшее время перейти в четырехзначные, а исходящая вот уже несколько недель безнадежно обозначалась незначительными двухзначными. И надеяться, что Илларион не заметит столь вопиющей диспропорции, не было никаких оснований.

От одной мысли о неизбежной встрече с Кавалергардовым Чайникова бросало в дрожь. Но душа поэта легка и отходчива. Через несколько мгновений разгоралась надежда не совсем даже определенная, четко, так сказать, не очерченная, но все же основанная пусть на несбыточном обещании старого друга. Одного обещания порой вполне достаточно, чтобы глядеть в будущее безбоязненно, с ожиданием нечаянных радостей.

Кое-кто, возможно, посчитает моего героя непростительно легкомысленным. Допускаю, что это так. Не знаю, удавалось ли кому-нибудь встречать живого поэта, совершенно лишенного легкомыслия. Я таких не знаю, хотя и перевидал на своем веку немало. Поэтому не могу полностью защитить, при всем желании, от подобных подозрений моего Чайникова. Но и при этом скажу: при всем легкомыслии и даже некоторой беззаботности, сквозившей в настроении, с каким Аскольд в последние дни являлся на службу, наш поэт не был лишен и делового расчета. Рассуждал он примерно так: будет у него умная машина Кузина и случится так, что она окажется годной – дела уладятся лучшим образом, а лопнет вся затея – хочешь не хочешь, придется хлопнуть дверью. И уж чем громче, тем, пожалуй, и лучше. Уходить по-тихому Чайникову почему-то казалось дурным тоном.

Через силу почитывая самодеятельные романы, рассказы, повести, поэмы, Аскольд все чаще прикидывал, каким образом в их достоинствах и недостатках станет разбираться хитрая машина? Если сначала это казалось совершенно несбыточным, то теперь при медленном чтении и обдумывании, отлично видя схематизм сюжетных ходов, примитивные характеры героев, скроенные по шаблону, штампованный язык, он все больше верил в то, что даже и не слишком мудрая машина безошибочно и легко сможет отсортировать все эти горы пустой породы от редких крупиц чистой руды. А большего, если здраво разобраться, и не требовалось. Для всего словесного шлака он составит самую вежливую, более того, даже изысканную – никакой самый въедливый комар и носа не подточит – стандартную формулу ответа. Скажем, что-нибудь в таком роде:

«Уважаемый друг! Самым внимательным образом ознакомившись с Вашим романом (рассказом, повестью, поэмой, комедией и т. п.), с огорчением должны сообщить, что, на наш взгляд, на этот раз Вас постигла творческая неудача. С кем не бывает, дорогой друг! Трудно определенно сказать, что явилось причиной столь огорчительного результата Вашего труда –

недостаточное ли знание материала, неуверенное ли владение пером или, быть может, вообще сфера вашего дарования лежит не в области художественной литературы. Так или иначе мы с сожалением вынуждены сообщить, что использовать Ваше произведение на страницах журнала «Восход» не представляется возможным.

Не падайте духом, уважаемый друг, дерзайте! Надеемся, что следующие Ваши опыты, если Вы только твердо уверены в том, что литература действительно Ваше призвание, окажутся значительно радостнее для Вас, а мы не замедлим откликнуться на них более утешительным письмом».

На такой ответ, по разумению Аскольда Чайникова, грех было бы жаловаться даже самому несносному честолюбцу. Вежливый отказ вроде ласкового утешения. Что же касается тех немногих крупниц чистой породы, которые отсортирует умная машина, то ими можно будет заняться со всей тщательностью, времени для этого освободится достаточно, можно постараться определить их судьбу со всем вниманием и по чистой совести. Сил на это он, Аскольд Чайников, которому родная литература дорога, не пожалует.

Так размышлял наш поэт. И некоторые основания для столь оптимистических раздумий у него были. Главное, не подвел бы Никодим Сергеевич. Впрочем, это было совершенно на него не похоже, не такой это человек, уж Кузю-то он знает!

И действительно, прошла всего лишь неделя после случайной встречи друзей, – как долго она тянулась для нашего поэта! – и верный слову Никодим Сергеевич позвонил Чайникову.

– Не расплевался еще со своим потоком? – услышал Аскольд долгожданный голос в телефонной трубке.

– С каким потоком? Ах, ты имеешь в виду с самотеком?

– Вот-вот, запамятовал, как он там у вас называется.

– Сижу, на тебя надеюсь. Не выручишь – пойду ко дну, не самотек, а целый потоп у меня. Никогда такого завала не было. Положение отчаянное. Ждать больше не вмоготу.

– Ну прости, брат. Дел хватает, мотаюсь. Мы ведь тоже не семечки лузгаем. Недельки две еще без меня продержишься?

– Ни дня! – в отчаянии выкрикнул Чайников. – К концу этой недели меня тут не будет. Как только главный сунет свой нос в мои дела, сразу же выставит. Завал полный. Если сможешь, выручай сейчас же или никогда.

До Кузина дошло, что положение предельно критическое, помощь другу требуется действительно скорая. Никодим Сергеевич намотал на указательный палец прядь своего светлого чуба, была у него такая привычка, когда требовалось срочно обдумать создавшееся положение и принять решение. Иные в этих случаях считают до десяти или шагают из угла в угол, а Кузин наматывал волосы на указательный палец. Наматывает – и решение готово. Так было и на этот раз.

– Вообще-то, мне нужны были бы недельки две...

Услышав это, Аскольд застонал в трубку, будто в эту минуту у него случился страшнейший приступ зубной боли.

Никодим Сергеевич понял все значение этого стога и поспешил утешить друга.

– Ладно, не стони. Машина, понимаешь, давно стоит без употребления. Мы ее сделали, испытали и за ненадобностью отставили. Так что проверить следовало бы. Но если у тебя так горит, делать нечего, могу доставить хоть сегодня. В машине я полностью уверен, хотя для порядка погонять бы ее и надо.

– Ты будешь машину гонять, а меня в это время в шею выгонят. Если бы ты только видел этот Ниагарский водопад самотека, Монбланы самодеятельных романов, повестей, поэм, пьес и всего прочего, сразу забыл бы о своих прогонах. Кавалергардов на меня не только клыки выточит, а и обе свои огромные челюсти.

Услышав этот отчаянный вопль, Никодим Сергеевич тут же согласился доставить машину и спросил, когда это лучше сделать.

– Немедленно!!! – послышалось в ответ.

Часа через три Никодим Сергеевич выехал. Транспортировать машину не составляло особого труда, она представляла собой истинное чудо компактности, внешне выглядела вроде радиоприемника с проигрывателем несколько устаревшего образца и умещалась на заднем сиденье легковой машины.

Никодим Сергеевич подъехал к подъезду редакции «Восход» на своей мышастой «Волге» в тот тихий час конца рабочего дня, когда сотрудники, спохватившись, что они за весь рабочий день успели наработать сущие пустяки, с величайшим усердием пытались наверстать упущенное. Благодаря этому появление постороннего человека с ящиком, похожим на старомодный чемодан, купленный в комиссионном магазине для дальнего вояжа, осталось незамеченным. Чайников встретил своего спасителя у подъезда, помог ему управиться с грузом, и они сумели мгновенно прошмыгнуть в загородку под лестницей.

– Хоромы тебе отвели, прямо скажу, не королевские, – оглядывая убогое помещенье, заметил Кузин. А про себя подумал, что такое убежище сейчас, пожалуй, и кстати. Друзья подсознательно чувствовали: то, что они затеяли, предавать гласности было бы по крайней мере преждевременно.

Аскольд взволновался как малый ребенок, который ждет не дождется, когда наконец вручат ему самую желанную игрушку: о ней ему до сих пор можно было лишь мечтать, другим же и мечтать не позволено. Нетерпеливым взглядом следил он за тем, как Никодим Сергеевич, самый надежный его друг, настоящий школьный товарищ, на которого в трудную минуту можно положиться, как на себя, колоссальный ученый и феноменальный изобретатель, взгромоздив на письменный стол увесистый чемодан, – стол от этого удовлетворенно крякнул, – достал из жилетного кармана изящный ключик и отпер металлический замок, щелкнувший так же приятно, как щелкнул бы и любой другой металлический замок, приделанный ко всякому другому чемодану.

Чайников ждал ошеломляющего чуда. И как часто бывает, ожидая чуда, воображая его себе бог знает чем, при первом столкновении с ним мы испытываем досадное чувство разочарования. Все оказывается на деле проще и беднее нарисованного нашим пылким воображением. Не потому ли очень скоро даже истинное чудо перестает быть чудом, занимает положенное место среди привычных и даже обыденных вещей. Нечто подобное пережил и Аскольд Чайников, увидев наконец столь желанную машину, похожую на устаревший радиоприемник. У него аж все похолодело внутри. Мелькнула тревожная мысль: не розыгрыш ли это? Как жесток был бы такой розыгрыш. Но разве мало случалось жестоких розыгрышей?

Чайников живо представил себя разыгранным и мгновенно пережил то пренеприятнейшее чувство, какое его могло постичь в этом случае. От одного этого его всего так и передернуло.

– Где у тебя розетка? – деловито спросил Никодим Сергеевич, прерывая ход неприятных раздумий друга.

Аскольд трясущейся рукой указал на черный кружок на стене неподалеку от письменного стола, мысленно прикидывая, как ему держать себя, если вдруг все же последует злая шутка. Но Кузин, весь поглощенный делом, и сам в эти минуты волновался, налаживая аппарат.

Наконец машина была включена. В ней сначала слабым накалом засветились лампочки, почти совершенно так же, как в обыкновенном приемнике или телевизоре, послышалось нарастающее, а потом почти прекратившееся ровное гудение, на лицевой стороне заперемигивались разноцветные шкалы, и Аскольд начал успокаиваться, снова обретая веру в то, что его школьный друг не опустился до обмана или до озорного розыгрыша, а явился в это убогое помещение истинным ангелом-спасителем. Чайников даже возликовал на радостях, бросился было обнимать и целовать Кузина, но тот его холодно отстранил и потребовал:

– Рукопись!

Аскольд заполошно бросился к столу и с суетливой поспешностью сунул в руки Никодима Сергеевича сразу несколько бандеролей. Кузин отобрал ту, что была потолще, и аккуратно отправил в приемное устройство, попутно объясняя свои действия. Их Чайникову следовало твердо усвоить, чтобы самому пользоваться аппаратом. Как только листы поползли внутрь, гудение машины усилилось, показывая, что она с явным неудовольствием знакомится с предложенным текстом.

– Теперь можешь заказывать чай с лимончиком и, помешивая ложечкой в стакане, терпеливо ждать результата, – с довольной улыбкой объявил Никодим Сергеевич.

Аскольд с готовностью улыбнулся в ответ, только что пережитая острая тревога проходила, расслабляя все внутри, к нему возвращалось облегчительное успокоение и щемящее чувство счастья. Теперь он снова верил, что спасен, что ему больше не страшен Кавалергардов, отныне ему вообще никто не страшен!

А Никодим Сергеевич привычным тоном лектора продолжал давать наставления:

– У прибора на лицевой стороне пять шкал с разными подсветками. Видишь? Они окрашены каждая в свой цвет. На самом верху с фиолетовой подсветкой – предупреждаю, а ты хорошенько это запомни – фиолетовая шкала может никогда не вспыхнуть. Никогда! – раздельно отчеканил Кузин и продолжал: – А если вспыхнет, то ты обязан хорошенько запомнить тот день и час, ибо это будет означать важнейшее событие – появился гений! Понимаешь, гений! – опять растянул Никодим Сергеевич, желая особо подчеркнуть значение сказанного.

Чайников, внимавший другу с величайшим трепетом и доверием к каждому слову, при этом даже отступил несколько назад, тесная каморка не позволяла пятиться слишком далеко, и протестующее замахал руками – мол, нет, нет, что ты такое говоришь, этого и быть не может, и ждать нечего, гении в наше время не рождаются. А Никодим Сергеевич продолжал:

– Не понимаю, чего ты протестуешь. В принципе не исключено появление гения, совершенно не исключено. Верить в это надо. И твердо помнить то, что я сказал.

Аскольд покраснел, изумившись тому, что он только что без всяких оснований почему-то не допускал даже самой возможности появления гения. Ему сделалось стыдно, и он поспешил поправиться:

– Да, именно в наше время и прежде всего у нас могут и должны появиться гении.

Ученый будто и не слышал этой фразы, он вдруг спохватился, торопливо отвернул рукав пиджака и глянул на часы.

– Да, мы не засекали время, когда пустили в машину рукопись. На обработку ее должно уйти не более пяти минут. Так что за свой рабочий день – он у тебя продолжается восемь часов? – отбрасываем час на обед, – итак, за свой рабочий день ты сможешь пропустить рукописей восемьдесят, скинем еще на то, что ты замешкаешься, замечтаешься, заболтаешься, все равно выйдет – семьдесят-семьдесят пять. Ничего выработка, а?

Аскольд в это время тоже смотрел на свои старомодные ручные часы, но делал это чисто механически, как во сне, не видя не только стрелок, но и циферблата. Однако слова Кузина о колоссальной производительности машины до него, хотя и неясно, будто в тумане, все же дошли, и он удовлетворенно откликнулся:

– Грандиозно!

– Далее, – продолжал Кузин ровным, деловым тоном, – шкала с зеленой подсветкой, – он указал на эту шкалу, – вспыхнет в том случае, когда в рукописи обнаружатся серьезные признаки одаренности или, как у вас принято говорить, таланта. Талант, как известно, тоже редкость. Так что не рассчитывай, что твое чело будет часто озарять спокойным и радостным зеленым светом. Возможно, раз в десять лет, а то и реже. Скорее всего даже значительно реже. Под ней шкала с оранжевым подсветом, машина высветит ее в том случае, когда соприкоснется с производением вполне профессиональным, мастеровитым, что ли, в общем, не знаю, как это принято у вас называть, мы такие вещи называем просто и коротко – дело. Оранжевые

вспышки тоже не каждый день будут загораться, ты не огорчайся – все так и должно быть. Есть еще шкала с желтым подсветом. Это, если так позволено выразиться, потуги. Задатки кое-какие намечаются, а дела еще нет. Тут тебе самому придется решать, как поступить с такой рукописью и ее автором.

– Таким не грех помочь.

– Верно, верно, помогать надо, – согласился Никодим Сергеевич и продолжал: – А в самом низу последняя шкала с красным подсветом, она, уверяю тебя, чаще всего будет вспыхивать. Ее надо бы в целях техники безопасности поменять с зеленой шкалой, чтобы не портила глаза, как видишь, и мы не до всего дотумкались, что делать, придется терпеть...

– Потерплю, потерплю, – с радостной готовностью заверил друга Чайников.

– Так вот, вспышка красного цвета означает только одно – в корзину! В корзину! – повторил для убедительности Никодим Сергеевич.

В это время как раз и вспыхнула нижняя ярко-красная шкала.

– Вот видишь, – торжествуя произнес ученый, быстро выкручивая проанализированную машиной рукопись. – С этим автором можешь не церемониться, крой его в хвост и в гриву, так, чтобы ему nepовaдно было больше браться за перо!

– Ну не скажи, – возразил Чайников, – с графоманами приходится держаться особенно осторожно. Знал бы ты, что это за народ, по-другому говорил бы. Но это уже моя забота.

Никодим Сергеевич не стал возражать – ему и самому приходилось иметь дело хоть и не с графоманами, от этого, бог миловал, ученые в известной мере избавлены, но со всякими свихнувшимися на изобретательстве, так что он вполне понимал своего друга.

Кузин предложил Аскольду самому опустить любую рукопись в приемное устройство, дожидаться результата, а затем выкрутить ее из машины. Чайников выбрал не столь пухлую бандероль, запустил ее в машину и стал с нетерпением ждать результата. Ему очень хотелось, чтобы на этот раз вспыхнула не красная шкала, а какая-нибудь другая. Чтобы попалась более или менее стоящая рукопись. Но чуда не произошло, приговор и на этот раз был безжалостный – в корзину! Аскольд разочарованно выкрутил листки из машины и принялся читать.

– Мура, мура, – решительно заверил Никодим Сергеевич, – можешь не напрягаться.

– И верно, мура, – вынужден был согласиться Чайников.

– Ты что, не веришь моей машине?! – возмутился Кузин. – Могу и забрать.

– Что ты, что ты, – испугался Аскольд.

– Работаем с гарантией. Мы эту машину, знаешь, как гоняли? Запускали в нее Гомера, и Шекспира, и Пушкина, и Толстого – все гении. Ни единой ошибки. Для разнообразия подвергли испытаниям литераторов и меньшего калибра – Золя, Левидова, Эргеля, Боборыкина. И что интересно, Боборыкин оказался не бездарностью, горел оранжевым светом. Попадались и такие из числа бывших знаменитостей, которые и желтым не светились, а все красным, красным. Но это уже пусть останется, так сказать, производственным секретом.

Чайников, слушая Никодима Сергеевича, отобрал еще одну рукопись, желая добиться все же иного результата. Но едва успел опустить ее в машину, как дверь вдруг скрипнула и на пороге показалась пухленькая Лилечка, секретарь Кавалергардова. Это было явно не к добру. Хотя Аскольд и верил в то, что в ближайшие дни с помощью чудесной машины он разгребет образовавшиеся завалы рукописей, но сердце его все же упало, отвечать за скверное положение дел предстояло не через несколько дней, а сейчас. И ничего хорошего это не обещало.

Увидев на столе машину, Лилечка несколько опешила от неожиданности и, не сдержав женского любопытства, спросила:

– Только что купили?

– Да, вот Аскольд обзавелся приемником, – нашелся Никодим Сергеевич.

– В комиссионке?

– Почему в комиссионке, – с некоторой обидой проговорил Кузин.

– Такие старомодные только там теперь и продают, – стояла на своем Лилечка.

Машина угрожающе гудела, видимо, и эта рукопись ей не нравилась, но никаких звуков, какие обычно несутся из радиоприемника, не издавала. Лилечка передернула плечами, решив, что Чайников по бедности купил испорченный приемник, сразу утратила интерес к его приобретению и тут же вспомнила, зачем именно заглянула сюда.

– Да, товарищ Чайников, завтра приглашаетесь на ковер, – с плохо скрытым злорадством сообщила Лилечка.

В кабинете Иллариона Кавалергардова на полу лежал огромный толстый ковер, способный украсить и президентские покои. Всякий персональный вызов к главному редактору ничего, кроме разноса, как правило, не предвещал, и эти вызовы в редакции, как, впрочем, и во множестве других учреждений, называли не иначе, как приглашением на ковер. Не было это секретом и для Кавалергардова, который, полагая, что сотрудников полезно держать в страхе, всегда отдавал Лилечке примерно такие распоряжения:

– Завтра, э-э, пригласите-ка ко мне на ковер... – и далее следовало указание, кого именно нужно пригласить.

Лилечка уже повернулась, намереваясь покинуть не слишком привлекательный кабинет Чайникова, но вдруг задержалась и через плечо бросила:

– Что-то вы совсем, товарищ Чайников, перестали отправлять почту, никакого движения не наблюдается. Смотрите, это ведь чревато... – Чем чревато, Лилечка не договорила, но Аскольд и без того хорошо понимал, на что сделан намек.

Гроза над его бедной головой собиралась сильная, об этом говорил и визит Лилечки, но уже и громоотвод для разящей молнии был установлен в самый последний момент.

– Да, да, ответы у меня подготовлены. Много ответов. Только вот не собрался на отправку передать, – солгал Чайников, желая приукрасить реальное положение.

– Поторопитесь, – не удержалась от совета Лилечка.

– Сегодня уже не успею, а завтра вот увидите, – пообещал Аскольд.

– Посмотрим, посмотрим, – с некоторым недоверием бросила на прощание Лилечка и пристальным взглядом измерила незнакомого Кузина, о котором подумала: «Мужик ничего, но не из особенных».

Ах, Лилечка, Лилечка, знала бы она, о ком так снисходительно судила сейчас, наверняка обозвала бы себя самой последней безмозглой растопырей, дебилкой, недотепой и даже курицей, как это принято у современных девиц, более всего ценящих в таких делах безошибочную пронизательность. Но и то сказать, с первого, да еще беглого взгляда опрометчиво судят о человеке и не такие, как Лилечка, хотя на секретарской должности она и набила глаз на оценке появляющихся всего на несколько мгновений людей.

Лилечка выкатилась от Чайникова как раз в тот момент, когда в очередной раз зажглась шкала все с тем же ярко-красным подсветом.

– Не лучше ли тебе, дружище, взять мою адскую машинку домой? Как бы тут ее не сглазили, – посоветовал Никодим Сергеевич.

– Дома, понимаешь, от ребят не отобьешься. Два парня и оба сорванцы, каких поискать. К тому же к технике заражены тягой неодолимой.

– На замке держи.

– Это такая публика, для которой замков не существует. А тут у меня шкаф запирается, да и при закрытых дверях есть возможность работать. Вечерами смогу оставаться в полном одиночестве...

– Ты вот что, – посоветовал Никодим Сергеевич, – многие будут принимать машину за радиоприемник устаревшей конструкции, так не разубеждай. Пусть думают на здоровье. Тебе это не повредит. Старые люди мудро наставляли: ешь пирог с грибами, а язык-то держи за зубами.

Сотрудники в положенное время дружно покинули редакцию. Друзья весь вечер сидели возле машины. И весь вечер с монотонной последовательностью вспыхивала только одна шкала. Гора рукописей, не заслуживающих внимания, все росла и росла. К каждой требовалось после этого только приколоть вежливую, заранее сочиненную стандартку с отказом. Дело шло весело.

Чайников радовался тому, что почти весь завал удалось разгрести. И всего за один вечер! Вот это производительность! Вот это машина!

Но монотонность, с какой она светила одним красным светом, вдруг начала настораживать, в сердце Аскольда закралась тревога, даже отчаяние. От одного страшного предположения он весь похолодел.

– Слушай, Кузя, – довольно непочтительно обратился Чайников к своему ученому другу, – а что если этот чертов аппарат всех стрижет под одну гребенку?

– Что ты хочешь сказать? – встрепнулся Никодим Сергеевич, совершенно не обращая внимания на непочтительный тон Чайникова.

– Светятся ли у нее вообще другие шкалы? Не разладилась ли твоя техника? – уже сбавляя тон, спросил Аскольд.

– А это легко проверить.

– Каким образом?

– Есть у тебя приличная рукопись?

Чайников выдвинул ящик письменного стола. Там лежали отпечатанные на машинке стихи его собственного сочинения, которые он предлагал несколько месяц назад в свой журнал и которые Кавалергардов не то чтобы совсем отклонил, просто счел нужным отложить. На какой срок? А кто его знает. Скорее всего до тех пор, пока не соизволит смилостивиться.

Первым движением Чайникова было пустить в машину собственные стихи. Но его тут же обуял страх. А что если и в этом случае зажжется ярко-красная шкала? А вдруг ответ будет убийственным. Аскольд поспешно задвинул ящик и тут же сказал Кузину:

– Подожди минутку, я сейчас. В отделе прозы идет подборка рассказов одного маститого писателя. Дверь у них не запирается, замок давно испорчен, а исправить никак не соберутся. Может, повезет найти копию.

Ему действительно повезло. Минуты через три Чайников вернулся с подборкой рассказов. Никодим Сергеевич бегло взглянул на имя автора – то был писатель, рассказы которого действительно пользовались признанием в широкой читательской среде, их любил и сам Кузин, теперь и ему было интересно узнать истинную цену популярного рассказчика. Он бережно опустил рукопись в аппарат.

Прошло положенное время, машина поурчала, и зажглась оранжевая шкала.

– Вот видишь, – удовлетворенно проговорил Никодим Сергеевич, – дело.

Чайников обрадовался и тому, что машина исправна, и что популярный автор оказался отнюдь не дутым авторитетом. Рад был и Кузин, начавший опасаться, а не разладилась за время бездействия машина. Нет, все в полном порядке. За четкость работы можно ручаться.

После этого у Чайникова возникло еще большее искушение узнать истинную цену своим стихам. Он вынул из стола рукопись и взвесил ее в нерешительности на ладони, будто этим хотел определить не один вес, а и качество.

– Хочешь попробовать еще одну рукопись? – оживился Никодим Сергеевич.

– Это м-мои сти-ихи, – смущенно пролепетал, слегка заикаясь, Чайников.

– Давай и их! – бодро предложил Кузин.

– Да, но...

– Боишься?

– Откровенно говоря, страшновато.

– Стихи-то считаешь как, приличные?

– Вроде бы удались.

– Так давай.

– А вдруг...

– Ничего, не умрешь... А потом, лучше знать правду, чем заблуждаться на собственный счет.

– А, была не была, – с отчаянной решимостью произнес Чайников и сам отправил рукопись в машину.

Пока аппарат переваривал, урча, текст, поэт ощутил столь сильное сердцебиение, что едва не лишился чувств и сто раз успел пожалеть о том, что решился на такое испытание, которое сейчас представлялось ему хуже казни. В отчаянии он молил, кого и сам не знал, о том, чтобы только не вспыхнула позорная красная шкала, чтобы не видеть этого смертельно режущего цвета. В страхе Чайников даже крепко зажмурился.

Когда машина перестала урчать, он, не открывая глаз, дрожащим голосом спросил:

– Ну, что там?

– Дело, – твердо сказал Никодим Сергеевич и обнял дрожащего друга. – Дело, понимаешь. Дело. Перестань трястись!

И все равно, прошла еще минута, пока Чайникову удалось унять колотившее его волнение и он наконец открыл глаза.

Волнение сменилось жарким ощущением счастья, ибо он твердо знал теперь, что спасен. И еще безмерно счастлив был от того, что снова обрел уверенность – и после длительного творческого простоя, когда стихи почти не писались и его никто не хотел печатать, он сохранил все же способность творить.

Большого счастья Чайникову в этот день и не нужно было.

Глава четвертая, в которой судьба Аскольда Чайникова заметно меняется к лучшему

Кавалергардов является в редакцию по собственному усмотрению и желанию, требуя в то же время от сотрудников строжайшей дисциплины. Он был твердо уверен, что его дело давать направление и следить за тем, как выдерживается это направление, а работать обязан аппарат. Ему приходится нести общую ответственность, которая и оплачивается немалыми привилегиями.

В самом этом факте ничего предосудительного нет, и, упоминая об этом, автор не пытается бросить тень на кого-нибудь из главных редакторов и на Иллариона Варсановича, в частности. Отнюдь. Ведь надо принять во внимание и то, что Кавалергардов был не только главным редактором толстого литературно-художественного журнала, что само по себе обременительно, правда, от этого тяжелого бремени почему-то никто не спешит избавиться, но одновременно и секретарем Союза, членом редакционных советов нескольких издательств, а уж что касается всяких чисто общественных выборных и представительных органов, то я не берусь их и перечислять, ибо это настолько утяжелило бы наше повествование, что его вряд ли можно было бы, по крайней мере на этой странице, отличить от ведомственного справочника. Сообщу лишь, что Кавалергардов вращался во всевозможных сферах, ухитрялся жить одновременно в городе и на даче, в родной стране и за границей. Он каким-то образом приспособивался жить так, что никто – ни жена, ни его преданная личная секретарша Лилечка, ни даже шоферы, постоянно обслуживавшие Кавалергардова, – положительно не могли сказать, где он в данную минуту находится и где объявится через час.

Словом, крутится Илларион Варсанович, как говорится, дай бог, как белка... впрочем, нет, не как белка. Белке такие скорости и такие средства, какие помогали крутиться Кавалергардову, никогда не снились и не могли сниться. Носатого, большеголового, неестественно длинного и тощего Иллариона, – родись он лет на тридцать попозже, непременно сделался бы добычей баскетбольных тренеров, – сразу узнавали, появись он на людном собрании, в театре или, скажем, на стадионе, и уж тем более на каком-либо празднестве. Не только близким, а и тем, кто лишь время от времени наблюдал Иллариона Варсановича со среднего и даже, так сказать, отдаленного расстояния, были известны его манеры, его привычки, его не всем нравившаяся, но всеми тем не менее принимавшаяся особенность разговаривать вяловато и устало и отдавать этим вяловато-усталым тоном самые важные распоряжения. Шутил Кавалергардов тяжеловато, оживлялся лишь в самом узком кругу и в очень редких случаях. Делал он это в целях самосохранения после того, как один из врачей посоветовал ему беречь эмоциональную энергию.

В не столь давние годы эту энергию Илларион Варсанович Кавалергардов расходовал на творчество – он слыл плодовитым кинодраматургом. Каждый год на экраны выходили фильмы, поставленные по его сценарию, а в иные годы и два. Случалось, что сценарий превращался в пьесу и продолжал победное шествие на подмостках театров. Но в последние годы то ли Илларион Варсанович исписался, то ли уж слишком закрутила его жизнь, фильмы по его сценариям ставились все реже.

Еще не столь давно услужливые критики превозносили Кавалергардова чуть ли не до небес, даже называли королем экрана и телевизора. Но это было и ушло. С некоторых пор слава его начала заметно тускнеть, имя стало забываться не одними зрителями, а и кинорежиссерами и критиками, хотя у Иллариона Варсановича еще по-прежнему среди них оставалась пропасть друзей, охотно садившихся за его гостеприимный стол на городской квартире и на даче.

Теперь он добивался преимущественно одного – чтобы как можно чаще его имя мелькало на страницах печати, чтобы в обзорах не пропускали, интервью почаще брали, о былых заслугах читателям напоминали, в перечнях указывали. Ко всяким упоминаниям он был ревнив. Не дай бог, если его фамилию в информационном сообщении о каком-то заседании вычеркивали при сокращении перечня тех, кто присутствовал или выступал. Редактору такого издания Кавалергардов устраивал шумный скандал, требовал непременно наказания сотрудника, готовившего материал. Все это делалось для того, чтобы в следующий раз неповадно было вычеркивать его фамилию даже при самой крайней необходимости сократить материал. Пусть кого угодно другого сокращают, но только не Кавалергардова! Такого принципа он считал необходимым держаться неукоснительно. Дай волю, сегодня сократят не задумываясь, а завтра и хулить начнут без зазрения совести, а там и забвению предадут, забудут, что такой и на свете существует. А забвения Илларион Варсановьевич боялся пуще всего. Можно сказать, до жути смертельной.

На творчество теперь, по совести говоря, уходило не так много эмоциональной энергии, о сохранении которой Кавалергардов тщательно заботился. Она ему при разнообразии и широте деятельности ой как еще была нужна. При невероятно уплотненном бюджете времени Илларион Варсановьевич ежедневно вырывал несколько драгоценных минут для того, чтобы внимательнейшим образом разглядеть свое лицо в зеркале. Особенно старательно он изучал цвет и блеск глаз, окраску белков. Мутноватые белки действовали на него удручающе. Как ни покажется странным, неестественная худоба не огорчала Кавалергардова, она нисколько не тревожила его, как бывало некогда, он находил в этом даже некоторое достоинство, соответствие современным требованиям медицины. Что касается внешнего вида, то и тут беспокоиться было нечего, – искусство постоянного портного позволяло успешно маскировать худобу и, как казалось Иллариону Варсановьевичу, придавало его фигуре элегантную стройность. А вот мутноватые белки удручали.

В этом случае Кавалергардов обычно вызывал редакционного шофера Алешу Малышева, прихватывал кого-нибудь из друзей, загружал машину съестным и отправлялся километров за сто, за полтора в приглянувшееся местечко, проводил денек на свежем воздухе, закусывал с аппетитом на пенке, что считал особенно целительным, выпивал, если была охота, и то сухую малость, лишь для бодрости, для разогрева крови, проводил время в приятной беседе или в созерцании природы и к вечеру свежий, в бодром здравии и в хорошем расположении духа возвращался в город или на дачу.

Если мутноватые белки настораживали, то отменялись назначенные встречи, переносились запланированные нагоняи, но им наступал все же черед, – ибо Кавалергардов никогда ничего и никому не прощал или прощал лишь только в самых крайних случаях и в силу особой необходимости, – задерживалось решение зависящих от него вопросов. Все успеется, все сделается, главное – сберечь драгоценную эмоциональную энергию и здоровье.

Так вот неожиданно отменился и запланированный для Аскольда Чайникова назначенный загодя строгий нагоняй. Аскольд терпеливо и с трепетом ждал весь день Кавалергардова, Лилечка строго следила за тем, чтобы Чайников не отлучался даже на обед. Илларион Варсановьевич мог нагрязнеть в любой момент. Наш поэт и не отлучался никуда, так и остался бедный без обеда, но шеф не явился. Его сегодня особенно встревожили мутные белки. И никто, кроме Алеши Малышева и одного из самых преданных друзей Кавалергардова, не знал, где он этот день обретался. На все звонки в редакцию привыкшая и к этому Лилечка неизменно отвечала:

– Илларион Варсановьевич обещал быть, а когда – не сказал.

Не отменил, не поставил в известность, но так и не появился. И на следующий день Кавалергардов показался в редакции лишь на несколько минут, так что не до Чайникова ему было, едва успел перемолвиться со своими двумя заместителями – Петром Степановичем и Степа-

ном Петровичем, совсем не родственниками по крови, но близко смыкавшимися друг с другом по духу, людьми исполнительными, понимающими один другого и в особенности главного буквально с полуслова. Оба заместителя странным образом были даже похожи друг на друга, только Степанович был повыше и посолиднее, а Петрович по-мальчишески худ и невысок. Они никогда не противоречили один другому и уж тем более не возражали Иллариону Варсановичу, который таким образом имел полное право заявлять всюду, что вопросы в «Восходе» решаются лишь с общего согласия. Так он и авторам в случае неприятного отказа заявлял:

– Видишь ли, дорогой, был подан голос против. Окончательные решения мы принимаем лишь с общего согласия.

Чей голос был против, кто именно его подал – считалось строжайшей редакционной тайной, которую под страхом увольнения должны были оберегать все сотрудники. Пример неизменно показывал сам Илларион Варсанович.

Начавшаяся столь неудачно неделя и продолжалась затем комкано. Правда, Кавалергардов вырвался в редакцию разок, вызвал секретаршу Лилечку, каждый раз подробно докладывавшую о текущих в отсутствие главного делах и вообще обо всем, достойном внимания и упоминания. Улучил Илларион Варсанович минуту, чтобы поговорить со своими заместителями и дать примерный нагоняй ответственному секретарю, дабы тот не упускал и на мгновение из поля зрения график выхода журнала. С тем и отбыл.

И в этот раз Лилечка строго-настрого приказала Чайникову ни под каким предлогом не отлучаться, потому что, возможно, ему придется предстать пред грозные очи главного. Аскольд ждал покорно, отлучался лишь в самом крайнем случае и то на максимально короткое время. Бояться ожидаемого разноса теперь уже вроде и не было больших оснований, Чайников солидно подготовился к обороне и с полным основанием считал себя даже неуязвимым. Считать-то считал, а все-таки отчего-то было страшновато.

И в этот день бедный Аскольд, как провинившийся ученик, остался без обеда. Кавалергардов за недосугом так и не принял его. А Лилечка запомнила или просто не посчитала нужным сообщить ему о том, что шеф сразу после обеда отбыл. Чайников узнал об этом лишь в самом конце рабочего дня, заглянув на всякий случай к Лилечке, пудрившей нос перед уходом.

– А Илларион Варсанович? – заикнулся Аскольд.

– Ах, какой вы чудак, – с милой непосредственностью всплеснула руками Лилечка, – сидите и ни гу-гу. Давно уехал.

И никаких там простите-извините, Лилечка хорошо знала, чего она стоит и какое место занимает в редакционной иерархии, и поэтому считала подобные вещи излишними и бессознательно следовала завету великого полководца: давать пардон и не просить пардону. Знал, чего стоит Лилечка, и Чайников и, сообразуясь с этим, не позволил себе выразить неудовольствие.

Почти ежевечерне к Чайникову в редакцию навещался Никодим Сергеевич. И у него со временем было, как всегда, туговато, но, будучи добросовестным ученым, он не мог позволить себе оставить без внимания свое детище, доверенное неспециалисту, и как истинный друг считал нужным поддерживать и опекать старого товарища. Вместе с Аскольдом он бдительно контролировал действия машины, но ему так и не представилось случая оспорить ее решения. Каждый раз вслед за машиной внимательно читал рукопись и с удовлетворением отмечал:

– Прошу убедиться, поводов для сомнений нет. – И добавлял: – И быть не должно. Не сапоги, как говорится, тачаем.

По привычке ходить в таких случаях из угла в угол Никодим Сергеевич делал в тесной каморке Чайникова шаг в одну сторону и полтора в другую, повторяя:

– Не сапоги тачаем. Электроника все-таки. На самом, так сказать, острие века, его технического прогресса.

Никодим Сергеевич неизменно становился словоохотливым, когда эксперимент удавался и подходил к концу или когда новая машина работала без срывов. Наоборот, мрачнел, замы-

кался, уходил в себя, молчаливо сосредотачивался, если что-либо не ладилось, не выходило или обнаруживались неполадки. Единичные положительные результаты Кузина не удовлетворяли, только накопив достаточный и безусловно удовлетворительный материал, он успокаивался, оживлялся и у него сама собой возникала необходимость выговориться, эмоционально разрядиться.

Немалое достоинство своего детища Никодим Сергеевич усматривал еще и в том, что машина действовала беспристрастно, как и должно быть свойственно неодушевленному механизму.

– Нам, людям, это недоступно, – утверждал он, обращаясь к своему другу, – потому что каждый из нас дьявольски сложная, но не только не идеально, а в большинстве случаев даже мало-мальски сносно не отрегулированная машина. Идеально и даже просто прилично отрегулировать живой организм – задача будущего! И, к величайшему сожалению, не близкого будущего. Но я верю в науку. Неразрешимых проблем для нее нет. Дело во времени, только в нем!

Всю неделю машина работала с полной нагрузкой. Гора рукописей, подходивших под стандартные ответы, росла и росла. Несколько раз машина указала на более или менее серьезные потуги самодеятельных авторов, а однажды даже отметила рукопись, о которой можно было сказать: дело. Обоих это сильно обрадовало, и они сообща решили рекомендовать ее для опубликования.

После прочтения вполне приличной рукописи, Никодим Сергеевич любовно провел по крышке прибора ладонью, как бы погладив в знак поощрения, и с удовлетворением заключил:

– Все, машине безусловно можно верить. В моей опеке она больше не нуждается.

Это был последний вечер совместной работы Кузина и Чайникова, отныне машина поступала в полное распоряжение последнего и должна была действовать только под его наблюдением.

– Советую следить за температурным режимом, – сказал напоследок Никодим Сергеевич. – На случай каких-либо неполадок в мое отсутствие обращаться к моему заместителю, с которым можно связаться по моему телефону. Парень этот вполне надежный и в помощи не откажет. Но думаю, почти уверен, надобности такой не возникнет.

В конце дня Чайников выкладывал на стол Лилечке для отправки такую огромную стопу, что у секретарши от изумления неестественно расширились зрачки – такого количества ответов она раньше не видела. Даже мамаша Кураж не могла мечтать о такой производительности.

Над отправкой почты Лилечке теперь приходилось трудиться в поте лица и при самом деятельном участии курьерши Матвеевны, не успевавшей из-за этого в положенное время разносить чай сотрудникам и бегать в издательский буфет через дорогу за бутербродами и венской сдобой, любителей которой хватало в редакции. Машинистки и те взмолились, они вынуждены были весь день, не разгибаясь, печатать вежливые стандартки Чайникова и никак не могли урвать время для левой работы, дававшей приработок.

Старшая машинистка попробовала через Лилечку ходатайствовать перед заместителями главного о позволении хотя бы часть работы отдавать на сторону и оплачивать по счетам. Но и Степанович и Петрович дружно отвергли нездоровые домогательства, они лишь пообещали упросить Чайникова работать более равномерно, без рывков и авралов. Люди опытные и стойкие, заместители главного рассудили здраво: шторм ответов должен утихнуть, так как не может же исходящая корреспонденция превысить входящую, а последняя оставалась на привычно устоявшемся уровне. Равновесие неизбежно должно само собой восстановиться.

Так оно через сравнительно непродолжительное время и случилось. Но и Степановича и Петровича заинтересовало другое: каким образом Чайников после довольно непродолжительной практики так здорово набил себе руку, что переплюнул по части производительности саму мамашу Кураж? Сначала они рассудили просто: к примеру, спорт наглядно показывает, что человеческие возможности едва ли не беспредельны – рекорды то и дело растут, даже самые

феноменальные! Нет ничего необычного и в том, что неуклонно растет производительность, рост ее даже планируется, ибо на смену очень хорошим приходят еще лучше. Почему, к примеру, Чайников не может явиться одним из лучших?

Возможно, они так и остались бы при своем весьма обоснованном цепью логических рассуждений мнении, если бы по редакции не поползли неизвестно каким образом родившиеся слухи о том, что Чайникову школьный друг, большой ученый, преподнес какую-то чудодейственную машину, которая читает за него рукописи. И не только читает, а и дает им безошибочные оценки! Никто машины в действии не видел, с Кузиным не знакомился, а слух пошел. И что самое удивительное, слух довольно точный, как это часто бывает в наше сложное время глобальной осведомленности.

Вы, конечно же, удивитесь, не сможете не удивиться и даже, пожалуй, не поверите в то, что первой догадалась об истинном назначении аппарата, водруженного на столе Чайникова, не кто иной в редакции, как курьер и уборщица Матвеевна. Курьер как курьер, уборщица как уборщица – достаточно преклонных лет, в темном платочке, тихая и даже в отличие от многих других уборщиц в общем-то молчаливая. Правда, Матвеевна – страстная любительница чтения. В свободную минуту ее постоянно можно видеть с пухлым романом или книжкой толстого журнала в руках. «Восход» она прочитывала от корки до корки еще в верстке и нередко довольно метко высказывалась о напечатанных в нем произведениях. Настолько метко и самобытно судила, что иной дежурный критик, готовясь к очередной летучке, считал нужным специально выведать мнение Матвеевны, чтобы использовать его в своем выступлении, развить и дополнив, а иногда и просто процитировав. Успевала Матвеевна читать и другие толстые журналы и не отказывала себе в удовольствии сравнивать один печатный орган с другим. Вот такая была курьерша в «Восходе»!

Но и это еще не все. В редакции никто и не подозревал, что Матвеевна с особым пристрастием следит за новинками науки и техники, выписывает журнал «Наука и жизнь», запоем его читает, а в производственном отделе подбирает бракованные экземпляры «Техники молодежи» и «Юного техника» и прочитывает их на сон грядущий, как иные прочитывают на ночь захватывающие детективы. По портретам, не раз публиковавшимся в этих журналах, Матвеевна и признала однажды вечером в приятеле Аскольда Чайникова знаменитого ученого, члена-корреспондента Н. С. Кузина. А признав однажды, в другой раз присмотрелась повнимательнее и полностью удостоверилась в неоспоримости своей догадки. И насчет машины живо смекнула по обрывкам разговоров, которые вели при выходе из редакции в поздний час потеврявшие бдительность приятели.

От Матвеевны первой обо всем узнала Лилечка, не то чтобы ей курьерша специально доложила, а просто поделилась, как новостью, о которой трудно умолчать, поскольку она поражает воображение. Не берусь утверждать, что эта на самом деле сногшибательная новость сильно поразила Лилечку, но так как речь шла о редакционных делах, объяснявших феноменальную производительность Чайникова, то она сочла за благо до приезда Кавалергардова поставить в известность его заместителей. И Степанович и Петрович сначала не поверили ни одному слову, они посчитали такое чудо бабьей выдумкой, но встревожились и бросились проверять добросовестность рассылаемых Чайниковым ответов. Читали и перечитывали копии, но придаться ни к чему не могли.

Хотя Степанович и Петрович велели без того не очень болтливой Лилечке помалкивать насчет машины, но слух по редакционным кабинетам тихо пополз.

Последним в «Восходе» обо всем узнал Илларион Кавалергардов. Впрочем, сам он считал, что узнал о чудесной машине одним из первых. Даже пересчитал тех, кто раньше его оказался осведомленным, и выходило, что он четвертый или пятый.

Случилось это так. Проведя в понедельник полдня в редакции, Илларион Варсанюфьевич, пробежав приготовленную для него почту, тут же вызвал верную Лилечку, продиктовал

необходимые распоряжения и, решительно ткнув указательным пальцем в голубой ковер, повелительно изрек:

– Этого, как его. Сквородникова, то бишь, как его, Чайникова, живо!

Лилечка быстро повернулась, чтобы исполнить приказание, но Кавалергардов остановил ее:

– Думаю, с ним придется того, как говорится, закругляться... Как там с почтой у него? –

При этом вопросе он изобразил на лице гримасу крайнего неудовольствия, говорившую о том, что ему уже смертельно надоело с этим возиться.

– Рапортичка у вас на столе, – скромно ответила на это Лилечка.

Кавалергардов порылся в бумагах и нашел нужный листок. Изучив его, он снял очки и, потрясая ими, осведомился:

– Что я вижу и что это должно значить? Случая не было, чтобы у него с почтой ажур!

Каким образом?

– Машина! – почти выкрикнула Лилечка.

– Какая еще машина?! – возопил Кавалергардов.

– Это вам как следует смогут объяснить Петр Степанович и Степан Петрович.

– Ко мне их!

Заместители не заставили себя ждать. Путаясь и сбиваясь, Петр Степанович и Степан Петрович заверили, что они, как люди современные и несуетные, существование интеллектуальной машины начисто отрицают, но какая-то машина все же есть, разобраться в этом без надлежащей технической подготовки не так просто, в своем докладе они больше всего упирали на то, что оба самым тщательным образом изучили содержание ответов Чайникова на отправленные рукописи и нашли их на должном уровне.

Услышанное объяснение никак не удовлетворило Иллариона Варсановича: бросая свирепый взгляд на своих заместителей, он прямо-таки вскричал:

– Так есть эта чертова машина или нет?!

– Есть! – сказал один заместитель.

– Есть! – повторил другой.

– Так что же это за машина? – продолжал свирепеть Кавалергардов.

Заместители переминались с ноги на ногу, вопросительно глядели друг на друга и молчали.

Илларион Варсанович еще раз недобрым взглядом смерил своих заместителей, недовольно махнул рукой – мол, проваливайте с глаз моих, а себе под нос буркнул: «Вот помощничков бог дал, ни в чем нельзя положиться».

Оставшись один, он задумался: как же быть с Чайниковым? Крепко задумался. Кавалергардову очень не хотелось отступать от своего первоначального намерения: уволить, как он считал, расхлябанного сотрудника, который до сих пор ничем себя не проявил, да и подбострастия не выказал. А с другой стороны, как он мог выказать? Какие у него для этого возможности? Место незавидное, работы навалом. Ну, не справлялся, не справлялся, а теперь вот начал справляться. За что увольнять, нового искать? Впрочем, таких, кто желал бы под его, Кавалергардова, рукой работать, – пруд пруди, только заикнись, набегут. Но неизвестно, кто подвернется. Чайников по крайней мере, кажется, безвреден. Словом, с увольнением можно и не пороть горячку.

Но тут еще машина... Что за машина? Какая машина? Из сбивчивого доклада замов Илларион Варсанович все же понял, что машина читает рукописи и даже определяет их достоинства! Конечно, это черт-те что. Выходит, человек тут как бы и ни при чем, вроде бы получается совершенно уж бездушное отношение. Но ведь современные электронные машины в секунды разделяются с самыми умопомрачительными задачами, читают тексты, переводят, играют в шахматы.

А теперь, значит, появилась еще более умная машина. Легче легкого взять и отместить с порога. Ты откажешься, а другие ухватятся. Обязательно ухватятся. Тогда каким дураком будешь выглядеть? Чего-чего, а дураком Кавалергардов выглядеть никогда и ни при каких обстоятельствах не хотел.

Не первый раз жизнь ставила перед ним головоломный вопрос, и он в этих случаях говорил себе: «Постарайся понять, а не поймешь, угадай нужное направление, заставь чутье работать. Чутье-то у тебя есть».

Надо сказать, что чутье у Кавалергардова и в самом деле было замечательное. Он многого иной раз не понимал, но чувствовал нечто такое, чего другие уловить никак не могли. Любимое его выражение было в этих случаях – «ноздрей чую». Другьям и подчиненным довольно часто приходилось слышать это. И не раз случалось, что «ноздря» Кавалергардова не подводила. И сейчас «ноздря» тянула его на заманчивый след.

Идя по этому следу, Илларион Варсанофьевич как бы раздвигал тьму или завесу на своем пути. При этом строго следуя логике, он рассуждал примерно так. Раз эта треклятая машина столь совершенна, что читает рукописи и даже определяет их достоинства, что само по себе любопытно и превосходно, то этим, надо полагать, ее возможности не исчерпываются, она способна, должно быть, и на большее. И что из этого следует?

Тут Кавалергардов с горечью отметил, что «ноздря» ему не помощница. Во всем требовалось копать, так сказать, до самого доньшка, до сокровенного существа, чтоб все уж было как на ладони. А как прикажете копать? Вот в чем загвоздка. «Думай, Илларион, думай», – подхлестывал себя Кавалергардов.

Илларион Варсанофьевич опять задумался, крепко задумался. То есть какое-то время он ни о чем не думал. Сидел, опустив свою крупную буйную голову на могучий кулак. Под черепной коробкой бегали, опережая друг друга, разные мысли. Их следовало собрать в фокусе, привести в некое единство и направить к нужной цели. Но мысли никак не собирались, не подчинялись его воле.

Кавалергардов подождал какое-то время, не соберутся ли мысли и не начнут ли сосредотачиваться на нужном направлении. Не дождавшись этого, он начал полупшепотом рассуждать: «Так значит, машина читает рукописи, определяет их достоинства и, как сболтнул то ли Степан Петрович, то ли Петр Степанович, впрочем, какая разница, хоть Черт Иванович, может распознать даже гения. Даже гения!» – мысленно повторил и внутренне ахнул Илларион Варсанофьевич. Вдумался и внезапно зябко передернул плечами от внутреннего страха. Может, против этого надо протестовать? Возмущаться! Может, с этим следует бороться?

Но тут же сам себя осадил: «Не торопись, Илларион. С этой кибернетикой уже боролись, а победила она. С морганистами-менделистами тоже боролись – и еще как боролись! – а что вышло? То-то. История учит нас, дураков, аккуратности, тонкому обхождению и пониманию. Прежде всего пониманию».

А понять было трудно, ох как трудно. Кавалергардов грустно улыбнулся сам себе и еще раз поразился, даже восхитился: до чего же физики-химики доскакали! До самой лирики добрались. Колоссально! Само по себе, так сказать, колоссально, даже вне зависимости от результатов.

И все же куда важнее, пожалуй, все то, что отсюда проистекает. А проистекает отсюда по крайней мере, если судить с узко практической точки зрения, применительно хотя бы к себе, вот что. В редакционной деятельности то и дело приходится бороться с сомнениями, начинающая от пустяковых, вроде того: хорошо-плохо, только манерно или по-настоящему талантливо, действительно свежо и остро или всего-навсего ловкая имитация этой остроты и свежести?

Пойди-ка разберись! Со стороны кажется – пустое дело. Ведь пишут-то в наше время все с вывертами и заворотами. Намешают черт-те чего, тут тебе и прозрачный реализм налицо, а в следующей главе, глядишь, голая мистика, чертовщина, на чертовщину прямо-таки

поветрие пошло, а там зачем-то фантастика подпущена, сатира эта самая с туманными гиперболами?! И опять же подтекст. Хуже нет для редактора вещи с подтекстом! Сволочная штука, этот самый подтекст – разит им сильно, чувствуешь его определенно, а глазом не ухватишь, под микроскопом не углядишь. Во какая подлюга, этот подтекст!

В машину бы каждую такую сомнительную рукопись. Если уж талант чувствует, гения усечь может, то неужто сомнительность всякая ей не по зубам? А потом, если творение, скажем, гениальное или, на худой конец, талантливое, то пусть и с подтекстом. Гению все прощается. И с редактора за него не взыскивают. Это уж выше редакторской компетенции, в иных сферах решать будут.

Словом, как ни поверни, откуда ни взгляни, выходит, что машина эта – сила! Силища!!! Хорошо – плохо, талантливо – неталантливо, без всяких тебе субъективных предвзятостей, симпатий и антипатий. Объективно. Чистейшая правда. Хоть ты обижайся, хоть реви, волосы на себе рви, от правды объективной никуда не денешься. Красота!

Илларион Варсанович почувствовал легкое головокружение, какое испытывал, когда к нему приходило нужное решение. И сейчас ясно улавливал, что он на пути к такому решению. Надо только еще поразмышлять. И он продолжал думать, анализировать, прикидывать и откидывать.

«Ходит, понимаете ли, этакий модный прозаик – грудь колесом, нос в зенит, претензии – на десяток Гоголей, заверстывай его только на открытие, гонорар требует по самой высшей ставке, иначе – прощайте, нас любой напечатает... А его – в машину!.. Поэты-наглецы, молодые, да ранние, раздерут строчки лесенкой – мы, новаторы! Ничего, машина и о вас всю правду скажет! Подождите, щучьи дети, и на вас управа нашлась!»

Все эти мысли настолько перевозбудили и взволновали Кавалергардова, что он не усидел в кресле, поднялся, прошелся в сильном волнении по голубому ковру, для чего-то форточку пошире распахнул, оттуда на него повеяло сырým холодным воздухом. Весенний день на этот раз был хмур и ветрен. Но даже это дуновение не охладило. Мысли продолжали будоражить.

«Что же получается? Каждому, выходит, истинная цена может быть назначена? Да обеими руками за такую машину надо держаться. Какие возможности откроются, если ею завладеть и овладеть! В комнате по присуждениям премий потеют. Зачем? Или приемная комиссия в Союзе мучается, тайное голосование, которое незамедлительно становится явным для того, кто этим интересуется. И из-за этого скандалы, нервотрепка. А к чему? Машина все может. На нее серчай сколько тебе вздумается, ей от этого ни жарко, ни холодно. Так-то вот, таким путем, как говорил Райкин».

Кавалергардов даже захихикал и вернулся на место. В кресле он расслабился. При всей неповоротливости, внешней медлительности и вялости Илларион Варсанович сохранял завидную внутреннюю мобильность, способность мгновенно перестраиваться в зависимости от внезапно меняющихся обстоятельств. В этих случаях он даже на людях, ничуть не смущаясь и, как было упомянуто, ни капельки не краснея, демонстрировал чудеса эластичности, поворотливости, мобильности перестройки. Злые языки называли его беспозвоночным. И этим Илларион Варсанович страшно оскорблялся, впрочем, не показывая виду. Но при всем том Кавалергардов не любил менять своих намерений и решений, делал это по крайней необходимости. И лишь тогда, когда к этому вынуждали такие обстоятельства, противиться которым было бессмысленно. В этом случае он решительно наступал на горло собственной песне, железно приказывал себе – надо! И это – надо! – становилось законом для всех его чувств, настроений и даже сокровенных потребностей, таким категоричным, что уже буквально в следующее мгновение он верил, что делает это легко, с удовольствием, как бы не вопреки, а благодаря собственному желанию и доброй воле.

К приходу Чайникова Кавалергардов настолько перестроился, что, можно сказать, не один раз с легкостью и готовностью повернулся на все сто восемьдесят градусов.

Когда дверь отворилась и показался явно растерявшийся Чайников, Кавалергардов поднял на него оживившиеся более чем обычно глаза, обласкал искрящимся взглядом и даже указал на одно из двух кресел перед столом. Таким радушным жестом главный не встречал, кажется, никого из сотрудников редакции. Аскольд сразу понял, что ему на этот раз нечего опасаться разноса, стрелка невидимого барометра со всей определенностью указывала на «ясно».

Чайников смело прошагал по самой середине голубого ковра и опустился в предложенное кресло. Где-то он вычитал, что главное достоинство подчиненного – а что Кавалергардов умел подмечать достоинства подчиненных, Аскольд об этом догадывался, так сказать инстинктом, – состоит в умении слушать начальство и особенно давать по возможности обстоятельные ответы. Чайников своевременно припомнил это мудрое наставление и приготовился руководствоваться им. Сев поудобнее, он обернулся к Иллариону Варсанофьевичу, молча вопрошая, что тому угодно знать.

А Кавалергардов, продолжая любоваться Чайниковым, в то же время соображал, с чего начать разговор. Тяжелые белые кисти больших, уже морщинистых рук покоились на бумагах, разложенных на редакторском столе. Они покоились и в то же время явно чего-то ждали, именно в эти руки требовалось что-то вложить, чтобы они могли по-хозяйски владеть и распоряжаться. Чайников чувствовал это, понимал, ему даже показалось, что разговор сейчас предстоит именно с этими руками, а не со всем тем, что составляет высокого и величественного Кавалергардова.

Наконец руки были разведены в стороны и прозвучал тусклый, будто ни в чем не заинтересованный голос:

– Говорят, вы там какой-то техникой обзавелись?

Аскольд встрепенулся совершенно произвольно, посмотрел в утратившие вдруг живость и привлекательность глаза шефа и начал соображать, как же лучше ответить на слишком прямо поставленный вопрос, в котором, вопреки ожиданиям, не прозвучало никакой определенно улавливаемой интонации – ни осуждающей, ни ободряющей. И хотя Чайников чувствовал, что атмосфера в кабинете царит все еще самая благожелательная и опасаться вроде бы совсем нечего, но тем не менее что-то его вдруг насторожило. Аскольд сам себе напомнил, что ведь ничего определенного в отношении себя он не слышал, все основано на одних ощущениях, но ощущения ощущениями, а суровая действительность, коварно опровергающая часто не только чувства, а и сверхбдительный разум, сама по себе. Быть настороже всегда полезно.

Беспокойство Чайникова чутко уловил Илларион Варсанофьевич и решил внести ноту успокоения.

– Нет, я не против техники, – заверил он, приглашая выкладывать все без опаски.

И Аскольд выложил все-все, не утаив даже деталей.

Кавалергардов внимательнейшим образом выслушал, оценил про себя открытость перед ним сотрудника, сцепил большие белые кисти и задумался. Подумав, выразил желание лично познакомиться с замечательной машиной.

Чайникову ничего не оставалось, как согласиться на это и продемонстрировать аппарат в действии. Из самотека у него остались всего-навсего три тощенькие рукописи, которые он поочередно и запустил в машину в присутствии шефа. Во всех трех случаях вспыхнула, как и обыкновенно, лишь красная шкала, означавшая, что рукописи никуда не годятся. Кавалергардов тут же вслед за машиной прочитал все три рукописи и остался доволен ее решением.

После этого они снова вернулись в кабинет Кавалергардова. Чайников предложил вниманию шефа ту единственную рукопись, которую машина признала достойной внимания. Илларион Варсанофьевич и к ней проявил живейший интерес, по-некрасовски пробежал первые ее страницы, заглянул в середину, терпеливо дочитал конец и удовлетворенно произнес:

– Не бог весть что, но все же... Готовьте, не торопясь, к набору. Первенец, так сказать, уже одно это за то, чтобы дать. Как ваше мнение?

Аскольд знал, что ни один главный редактор не имеет привычки спрашивать в таких случаях чье-то мнение, твердо решает сам, и если спросил, то это относится не к рукописи, а к нему, Чайникову, которому шеф теперь безусловно намерен доверять.

– Стоит дать, – согласился Чайников и с готовностью добавил: – Я еще пройдуся, почищу малость...

Кавалергардов благосклонно кивнул и перевел разговор в другое русло.

– У вас теперь освободилась уйма времени?

– Да, – подтвердил Аскольд. – Теперь я с особым вниманием вчитываюсь в те рукописи, которые машина относит к числу не совсем безнадежных...

– Я не о том, – поморщившись, перебил Кавалергардов. – Свободное время для каждого из нас – это прежде всего возможность творить. Ах, будь у меня свободное время!

Последняя фраза была выговорена с такой мукой и могла означать только одно: Иллариону Варсановичу не хватало отнюдь не таланта или мастерства, а лишь времени. И он это переживал трагично.

– У вас и новые стихи, должно быть, родились?

– Да, есть небольшой цикл.

– Принесите.

Аскольд быстренько сбегал.

Кавалергардов тут же с готовностью пробежал рукопись, это были те самые стихи, которые Чайников уже предлагал и которые были отложены на неопределенное время. Илларион Варсанович прочитал их как новые, прочитал совершенно другими глазами и похвалил:

– А ведь недурно, совсем недурно.

Аскольд после некоторого колебания решился и сообщил:

– Я и их через машину пропустил.

– И что же?

– Оранжевая шкала.

– Значит, и машина оценила?

Чайников утвердительно кивнул, покраснев от смущения и вспомнив, как он трепетал, решаясь на такое испытание.

– Хотите, при вас пропустим?

– Зачем? Верю, верю. Выходит, и старик Кавалергардов не утратил нюха.

– Так я с вашего разрешения в отдел поэзии подборочку-то...

– Зачем, – перебил Кавалергардов, – я сам распоряжусь. Вернее будет.

Затем Илларион Варсанович нажал на кнопку звонка и попросил мгновенно явившуюся Лилечку позвать заместителей. Высокий Степан Петрович и его уменьшенная копия Петр Степанович явились незамедлительно, бесшумно приблизились к столу шефа и с готовностью наклонили головы, демонстрируя желание прямо на лету схватить любое распоряжение.

– Для ближайших номеров, – протянул Кавалергардов стоявшему рядом Степану Петровичу рукопись отобранной машиной повести и стихи Чайникова. И добавил: – И вот что: придется вам, братцы, потесниться, будете трудиться в одной комнате. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Степан Петрович и Петр Степанович при этих словах конфузливо переглянулись, но перечить не стали. До сих пор они занимали каждый по маленькой узенькой комнатке один напротив другого. Обширный кабинет Кавалергардова большую часть времени из-за отсутствия хозяина пустовал, но в нем никто никогда не смел работать, даже совещания проводились в этой самой большой в редакции комнате только в присутствии шефа. Впрочем, заместители никогда не жаловались на тесноту, как и вообще ни на что не жаловались, даже если для этого и были основания.

Перехватив их взгляды, Кавалергардов счел нужным смягчить приказание:

– Может, сами что-то изобретете в смысле перемещения. Возражать не буду. Машине, понимаете, нужна обстановка. Из чулана под лестницей ее еще упрут. Вещь, сами понимаете, уникальнейшая!

Илларион Варсанюфьевич махнул в сторону замов рукой, и это означало, что он в них больше не нуждается.

– Да, – спохватился он тут же и буркнул в спину уходящим: – О машине чтобы ни одна душа. Редакционная тайна. И строжайшая!

Отпуская затем Чайникова, Кавалергардов сказал:

– Проезжайте сегодня же и скажите, что я велел врезать замок понадежнее в дверь вашего кабинета. Успеха!

Аскольд ликовал, такой удачи на его долю еще не выпадало. И как же неожиданно она свалилась! Да, жизнь щедрa на сюрпризы. И не только огорчительные.

У Чайникова голова шла кругом. Он ликовал и вместе с тем догадывался, что с ним случилось сегодня нечто противоестественное, а может быть даже и не совсем справедливое: по сути дела, в мгновение ока он вознесся на такую высоту, о какой и мечтать не смел, что там сметь – не думал и не гадал, даже в сладком сне не мог увидеть! Аскольд чувствовал некоторое смущение: выходило вроде бы так, что он получил то, чего, если здраво разобраться, не очень заслужил, не заработал даже малым усилием. И хотя такое чувство копошилось в его душе и смущало совесть, но вместе с тем заговорила обыкновенная человеческая слабость – радоваться всякой удаче, неожиданной и нечаянной, заслуженной и незаслуженной – это уже не столь важно. И эта радость заглушала все остальные чувства.

Как и повелел Кавалергардов, Чайников в тот же день перебрался в кабинет Петра Степановича и на радостях, его так и распирало от этого, даже позвонил Никодиму Сергеевичу, чтобы поделиться с ним внезапной удачей, которую целиком относил на его счет и за которую дружески благодарил, а заодно и сообщил ему свой новый служебный телефон. Кузин был рад за друга и очень пожалел о том, что не успеет глянуть на его новые апартаменты и посмотреть, как он устроился на новом месте, так как рано утром отбывает в длительную зарубежную командировку.

– На недели, на месяцы? – полюбопытствовал Аскольд.

– На месяцы – это определенно, но на сколько, затрудняюсь сказать. Сам понимаешь, не сапоги тачаем, – ввернул свою любимую фразу Никодим Сергеевич.

Это известие, хотя в нем ничего особенного и не было, чуточку встревожило Чайникова. Промелькнула пугливая мысль, что вот только что все пошло как нельзя лучше и, на тебе, он лишается надежной опоры. Но тут же мелькнуло и успокоительное соображение – не на век же уезжает Кузин, авось в его отсутствие ничего страшного не произойдет.

После этого радостное настроение опять вернулось к Чайникову, и по пути домой он не устоял перед тем, чтобы не завернуть в гастроном, где прихватил бутылочку и тортик. Замечали ли вы, что радующийся человек становится добрым и щедрым? И наш герой не составляет в этом отношении исключения.

Глава пятая, в которой происходит то, чего могло не случиться лет сто и даже более

Жизнь Аскольда Чайникова после всего случившегося совершенно переменялась. И только к лучшему.

Являясь в редакцию, он теперь заходил в свой отдельный кабинет, наравне со Степаном Петровичем и Петром Степановичем получал утренний, золотистого настоя чай, который ему исправно приносила Матвеевна, и, неторопливо помешивая в стакане ложечкой, включал машину, отправлял в нее самотечные рукописи, по-прежнему целыми мешками приходившие в адрес «Восхода», с любопытством ожидал результата. С утомительным постоянством обычно вспыхивала красная шкала, раздражавшая зрительные нервы. Аскольд даже сетовал на это. Впрочем, сетовал Чайников не очень сильно, так как машина настолько облегчила его участь, что не чувствовать самой пылкой благодарности он не мог.

Выполнение прямых служебных обязанностей отнимало теперь часа два-три чистого времени, как считают в хоккее. А всю остальную часть рабочего дня можно было посвящать творчеству и систематическому чтению, восполнению накопившихся пробелов. За последнее время Чайников возмужал, сделался серьезнее и деловитее. Сравнивая себя со своим школьным другом Никодимом Сергеевичем Кузиным, который вон на какие высоты махнул, Аскольд не раз горько сожалел о растраченных попусту годах и о чуть было не окончательно загубленной жизни.

Оценив себя столь критически, Чайников твердо решил начать жить по-новому. И начал. Надо сказать, что Аскольд Чайников не курил и не был спортивным болельщиком, пил уже несколько лет весьма умеренно, некогда это диктовалось степенными материальными соображениями, а теперь единственно разумным отношением к своему здоровью.

Все это не замедлило сказаться весьма положительно на жизни и дальнейшей судьбе Аскольда Чайникова. Его имя вновь начало появляться на страницах газет и журналов. И не с одними только стихами теперь выступал Чайников, начал пробовать себя и в критике, к которой раньше относился откровенно неуважительно. Да и критики стали снова замечать его, дружно заговорили о новом творческом взлете поэта, об открывшемся втором дыхании. В издательство он подал заявку на новый сборник стихов, указав, что в него войдут произведения, опубликованные в периодике. Заявку приняли и будущий сборник включили в издательский план.

И внешне Аскольд Чайников переменялся к лучшему. Он больше не походил на до времени состарившегося человека и классического неудачника. Лицо его порозовело, морщины разгладились, Чайников теперь регулярно брился, следил за своей внешностью, стал носить яркие модные галстуки, обзавелся новым костюмом, и ботинки его блестели так, что в них можно было смотреться. Словом, перемена произошла совершеннейшая.

В редакции «Восхода», как и за ее пределами, нашлись завистники, которые приписывали случившуюся с Чайниковым перемену тому, что он оказал Иллариону Варсановичу Кавалергардову какую-то неслыханную услугу. Строили на этот счет хитроумные догадки, распускали нелепые слухи. Другие судили более трезво, считали творческое возрождение Аскольда Чайникова естественным. Что ж, утверждали они, в литературе такие метаморфозы случались и раньше. Вспоминали, как один талантливый прозаик, оставивший после себя всего лишь один том сочинений, не раз переживал взлеты и падения, то опускаясь до нищенства, то снова добываясь благополучия достаточно прочного. Надо только не дать увянуть таланту. Что и произошло с Чайниковым.

Все эти толки и кривотолки, хотя и достигали слуха Иллариона Варсанюфьевича Кавалергардова, но он их напрочь игнорировал. Через некоторое время он сделал Чайникова членом редколлегии «Восхода», заметно приблизил к себе. Теперь Аскольд бывал гостем в доме шефа и даже приглашался к нему на дачу, что свидетельствовало о самой большой степени расположения Иллариона Варсанюфьевича.

Произошло это не само по себе, не автоматически, а после того, как Чайников весьма охотно и старательно выполнил несколько поручений Кавалергардова, которые тот считал необычными и даже щекотливыми. Не без колебания обратился главный в первый раз с просьбой пропустить через машину не самотечную рукопись, а повесть профессионального писателя, терзавшую редакторскую душу сомнениями. Она принадлежала перу именитого автора, человека скандального и нахрапистого, любившего пошуметь и даже пофрондировать преимущественно в рамках дозволенного, но, как выражаются спортсмены, на грани фола. Шум, возникающий чуть ли не после каждой публикации, усиливал известность скандального автора, создавал ему славу острого и смелого писателя, к чему он и стремился. Кавалергардову же автор был не по душе. Какому же редактору хочется работать на грани, так сказать, фола?!

Чайников принял рукопись, не видя в этом ничего особенного и совершенно не подозревая о душевных муках шефа, сделал аккуратнейшим образом все, о чем его просили. Такие поручения начали повторяться, впрочем, не столь уж часто. Но все же повторялись. Аскольд их исполнял и, что особенно ценил Кавалергардов, никого не посвящал в это.

Однажды на даче Илларион Варсанюфьевич обратился к захмелевшему Чайникову с такими словами:

– Аскольд Аполлонович, согласны ли вы с тем, что информация – мать интуиции?

– Великолепно сказано! – воскликнул, от души рассмеявшись, Чайников.

А Кавалергардов продолжал:

– Опасно, очень опасно в наше время полагаться лишь на эту самую интуицию. Уж на что моя ноздря всем известна, всеми признана. Но все же эфемерная штука, не на все сто надежная...

Илларион Варсанюфьевич еще некоторое время кружил вокруг интуиции, прощупывая жестким взглядом тускло-утомленных глаз своего собеседника, который, конечно же, является его союзником, но которого неосторожным грубым ходом можно и оттолкнуть, излишне предвидеть невозможно.

Чайников же, по свойственной ему беспечности, даже и не догадывался о том, что шеф обхаживает его и к чему-то гнет. Почувствовав это, Кавалергардов решил:

– Понимаете, Аскольд Аполлонович, мы, в сущности, слепо живем. Слепо, ужасно слепо. – Илларион Варсанюфьевич обратил свой испытующий взгляд на собеседника, стремясь обнаружить сочувствие или, наоборот, намек на негодование или даже просто настороженность.

Ничего похожего ни на то, ни на другое. Кавалергардов решил пойти в открытую:

– Ну что мы знаем о тех, кто нас окружает? – он выждал, готовый выслушать возражения.

Но Чайников молчал, изобразив на лице внимание. И тогда Илларион Варсанюфьевич продолжал:

– Ведь ничего достоверного. Ничегошеньки. Все основано на смутных субъективных ощущениях. На очень смутных. Вы согласны со мной?

Аскольд мотнул головой – согласен.

Кавалергардова это не удовлетворило, и он спросил еще прямее:

– Вы скажите все же, согласны?

– Согласен, согласен, – искренне заверил Чайников.

– Вот я и говорю, нет никакой объективности. Не на что, в сущности, твердо опереться. – Теперь Илларион Варсанюфьевич решил изложить все предельно ясно. – Вы можете сказать,

кто в нашей литературе истинный талант, а кто так себе? Кто по заслугам пользуется благами и славой, а кто непомерно раздут? На деле и доброго слова не заслуживает?

– Ну кто же это может сказать, кому наверняка известно? – простодушно поддержал шефа Аскольд.

– Вот я и говорю. А знать нужно бы. Даже очень важно знать подобные вещи.

– А не все ли равно, Илларион Варсанофьевич, – легкомысленно отмахнулся было Чайников.

– Ну нет, дорогуша. Нет и нет. Неужели справедливость тебе не дорога, неужели она так-таки ничего уже и не значит?

Кавалергардов заговорил о справедливости?! Это даже простодушного Чайникова несколько удивило и чуть-чуть покорило. Но, не желая перечить шефу, он заверил:

– Я всегда за справедливость. Всей душой.

– Вот и ладненько, дорогуша. А теперь позвольте спросить, какая она, справедливость, видим ли мы ее, отличаем ли, ежели мы слепы хуже котят новорожденных?

Аскольд насторожился, сиюсья понять, к чему клонит Кавалергардов.

– То есть? – вырвалось у него.

– Следите за моей мыслью. Расшаркиваемся черт-те перед кем, щедро печатаем, числим в активе «Восхода» тех, чьи имена лет через десять, может быть, и чертополоха не удобряют.

– А и верно, – согласился, прозревая, Чайников.

– Вот и я говорю, – радушно облапил собеседника Кавалергардов. – А что если, дорогой мой, кой-кого пропустить через нашу машину? Испытание такое устроить, а?

Аскольд остоленел от этого и протрезвел в ту же минуту. Глаза его расширились от удивления, он хлопнул себя по темени и захохотал во все горло.

– А ведь мысль! Это-т-то мысль!! – Чайников видел в этом некую забаву, нечто вроде шутивого розыгрыша.

– Списочек такой составить и потихоньку день за днем, не торопясь, торопиться совсем необязательно, в машину, в машину. Ведь машина принимает не один машинописный, а и печатный текст?

– Ей все едино.

– Вот и хорошо. Куда как хорошо. – Кавалергардов обволакивал словами собеседника, баюкал и гипнотизировал, вовлекая в свой замысел, который лишь с виду был безобиден. Чайников легко поддавался гипнозу, ничто в нем не сопротивлялось, не протестовало.

– Вместе и списочек составим...

– Какой списочек? – воскликнул входивший в раж Чайников. – Прямо весь справочник Союза писателей, по алфавиту, одного за другим, без снисхождения, невзирая, так сказать, на лица...

– Можно, конечно, и по алфавиту, можно и невзирая на лица, но необязательно уж всех. Зачем же всех-то? Всех, я думаю, ни к чему. Есть же, так сказать, и бесспорные...

– Вас не надо? – прямо рубанул Чайников.

Кавалергардов пожал плечами, будто бы в сомнении, и скромно сказал:

– Пожалуй, и не надо.

Илларион Варсанофьевич замолчал, обдумывая что-то. Может быть, решал – а не попробовать ли?.. Но так ничего и не решив, поднял задумчивый взгляд на Чайникова. Аскольд почувствовал себя неловко и, чтобы прервать затянувшееся молчание, спросил:

– Когда приступать по алфавиту-то?

– Как у вас завтра? Сильно загружен день?

– Завтра же и приступлю.

– Только, дорогуша, все это между нами. Сугубо между нами. Если хоть одна душа узнает, скандал может выйти.

- Чего скандалить-то? – изумился Аскольд.
 - Ну, знаете, люди обидчивы. А потом и насчет машины молчать полезно. К чему разглашать? Совсем ни к чему.
 - И Никодим на этот счет предупреждал.
 - Это кто Никодим?
 - Да мой школьный друг, ученый-изобретатель. Член-корреспондент.
 - Вот видите. Так что рот на замок. Полное молчание. Ни другу, ни жене, никому ни полслова.
- Чайников с готовностью дал такой обет.

На другой день Аскольд на свежую голову еще раз поразмыслил над обговоренным с шефом замыслом и поежился от смутных догадок об опасностях затеянной игры. Все это теперь представлялось не таким уж безобидным, как вчера. Он пораскинул мозгами, как бы уйти от не совсем обычного поручения, но понял, что увильнуть не удастся. Кавалергардов так просто из своих рук не выпустит. Придется покориться судьбе. Осторожность нужна, самая строгая осторожность. Теперь это в полной мере осознал Чайников.

Через несколько дней список с условными обозначениями показаний машины против фамилий первых трех десятков членов Союза писателей лежал на столе Кавалергардова. Изучив его, редактор «Восхода» круто начал менять свои отношения с некоторыми из старых друзей и, наоборот, искать дружбы с другими. И в направлении журнала вскоре начала сказываться внезапная и, на первый взгляд, необъяснимая переориентация.

Все это было замечено в литературной среде и даже вызвало легкое смятение, породило толки и догадки, ибо хорошо известно было, что Кавалергардов, при всем своем упрямстве и закоренелой привычке не считаться с мнением критиков и общественности, опрометчивых шагов не делает и своих симпатий и антипатий не меняет. Но причины перемен оставались тайной.

А жизнь Чайникова приобрела размеренность и даже солидность. Он теперь уже не только вполне сносно существовал, семья не бедствовала, поэт, можно сказать, преуспевал. Его даже не очень беспокоили завистники, которые у него появились прежде всего в «Восходе», а некоторое время спустя и за его пределами. Ступив на тропу удачи, Чайников видел перед собой ясный и заманчивый горизонт и полагал, что жизнь отныне потечет по новому руслу легко и размеренно. Но жизнь, как известно, не очень-то стремится к размеренности, она то и дело порывается нарушить столь милый нам спокойный ритм и делает это, кажется, с удовольствием. И если бы все обстояло не так, то не было бы трагедий и комедий, захватывающих романов и повестей, внезапных радостей и огорчений, начинающихся со столь распространенных «вдруг» и «однажды».

Это «вдруг» внезапно произошло и в жизни наших героев. Оно нагрянуло в обычный, ничем особенно не примечательный летний день, который и на летний-то день мало походил. Погода то хмурилась, то прояснялась, то будто собирался дождь, то раздумывал и прекращался, и потому было, как говорится, не жарко и не холодно. Как обычно явился в тот день Чайников на работу.

Не знаю как у кого, но у нашего Аскольда Аполлоновича начало рабочего дня было наименее продуктивным временем. Это тем более странно, что с переменами к лучшему он стал усердно следить за своим здоровьем и вел жизнь самую положительную. Вставал не поздно и не рано, как рекомендует медицина, преимущественно в одно время. Делал зарядку, для этого даже завел в квартире шведскую стенку. Выпивал за легким завтраком кофе и отправлялся пешком, непременно пешком на работу. Казалось бы, после всего этого только бы работать во всю моченьку, пока силы свежие и голова ясная. Так нет, именно в эти-то первые часы и

не работалось Чайникову. То ли мешал избыток сил, не растроченных с утра, то ли слишком ясной была голова, то ли закоренелая привычка к раскачке мешала. Не работалось и все тут.

Раздевшись, Аскольд даже не сразу подходил к письменному столу, а обычно прохаживался по своему вытянутому в длину и потому похожему на пенал кабинету. Потом вставал у окна и долго любовался ничем не примечательным кусочком городского двора, где росла скудная гусиная травка, которую так никогда никакие гуси и не щипали. По самому центру двора возвышалась будка кирпичной кладки неизвестного назначения и высилось в два человеческих роста нелепое, отлитое из бетона кольцо, какие употребляют при сооружении колодцев. Никакого колодца вроде никто во дворе делать и не собирался, а нелепое кольцо торчало тут уже не первый год. Далее виднелась торцевая стена соседнего дома, над ним висел невыразительный клочок неба, похожий на неаккуратно засиненную и неотстиранную простыню.

Как видим, разглядывать было нечего и любоваться решительно нечем. И тем не менее наш Чайников каждый день не менее получаса стоял у окна и любовался чем-то, хотя и сам, наверное, не мог бы сказать, чем именно.

И каждый раз наступала в конце концов та трудно объяснимая минута, когда он вдруг слышал властный внутренний голос, повелевавший: пора! Вот тогда Чайников присаживался к столу. Иногда, и довольно часто, сигналом к этому служил не властный внутренний голос, а появление Матвеевны со стаканом чая и утренними газетами. Тогда, собственно, и начиналась работа.

Аскольд бегло просматривал газеты, он никогда в них не вчитывался, довольствуясь утренними известиями по радио и кратким обзором, передававшимся перед самым выходом из дома, задерживался на фельетоне, если таковой присутствовал на страницах газеты, пробегал особенно броские репортажи и прочитывал особенно сенсационные сообщения, которые тоже не каждый день печатались. И только после этого Аскольд включал чудо-машину и, помешивая ложечкой в поостывшем стакане, отхлебывая, надрывал полученные конверты и привычным механическим жестом отправлял в зев аппарата. С удручающим постоянством на лицевой стороне вспыхивала шкала с ярко-красным подсветом. Чайников приспособился улавливать этот слишком резавший глаза свет боковым зрением. И тем же боковым зрением в тот ничем не примечательный день он уловил вдруг внезапно вспыхнувший фиолетовый свет.

И хотя это был не такой яркий свет, к какому привык Чайников, но он показался похожим на внезапное сверканье молнии. В сознании нашего героя этот момент запечатлелся именно как вспышка молнии. И немудрено – ведь произошло то, чего, как предупреждал Никодим Сергеевич Кузин, могло не случиться лет сто и даже более. Не каждый же век и до нас рождались гении. А фиолетовая шкала сигнализировала не о чем другом, как о появлении гения! Самого настоящего гения, которого так ждут и жаждут!

Гений! Это легко только так вот сразу и всуе выговорить, а как вы отнеслись бы к такому явлению, если бы вдруг сами столкнулись с гением-то носом к носу? Я, например, ничего определенного на этот счет сказать при всем желании не могу, а потому и отлично понимаю сильное замешательство, какое испытал в ту минуту наш Чайников.

Аскольд в полном обалдении, другое слово вряд ли тут подойдет, смотрел некоторое время на верхнюю шкалу аппарата, уже переставшую светиться. Нет, ему не приходила в голову мысль, что машина ошибалась или сказочное свечение, эта фиолетовая молния, ему лишь придалось, как бы помстилось. Но все же, чтобы удостовериться наверняка, он выкрутил рукопись и запустил ее снова. И еще раз засветилась фиолетовая шкала! Лишь после этого Аскольд Чайников начал совершенно отчетливо и ясно сознавать реальность случившегося.

Не скрою, сильнейшее волнение охватило нашего героя и владело им определенное время. Он ощутил одновременно жар и холод, сознание заволакивал странный туман. Не сразу удалось справиться с этим. Но вот пережитое волнение, если не потрясение, начало все же укладываться, голова прояснилась, и в душе разлился счастливый покой. И когда руки пере-

стали дрожать, Аскольд выкрутил вторично запущенную рукопись из аппарата и уставился на титульный лист. Смотрел на него, а названия произведения и имени автора так и не мог прочесть, буквы плясали и разбегались. Прошло минут десять, пока наконец удалось разобрать имя гениального автора – Аким Востронос.

Итак, нового гения звали до обидного просто – Аким Востроносов. Чайников несколько раз перечитал имя и фамилию на титульном листе рукописи и горько усмехнулся: Аким Востроносов и вдруг гений?! Какая-то гримаса почудилась в этом. Аскольд с горечью подумал, что вот все жили напряженным ожиданием прихода нового Пушкина, нового Толстого, нового Гоголя, всюду только об этом и толковали. Даже мечтали: явится новый гений и создаст столь ожидаемые всеми эпопеи, захватывающие масштабные полотна, достойные величия эпохи, отобразит грандиозные свершения и подвиги, во весь исполинский рост нарисует богатырские фигуры современных героев. Об этом говорилось много и часто не только в кулуарах, нередко и с трибуны.

В пришествие именно такого гения простодушно верил заодно с другими и Чайников. И ждал гения, особенно в последнее время, после того, как технический гигант Никодим Сергеевич вооружил его умной машиной. Правда, Аскольд был уверен, что такое пришествие может осуществиться весьма не скоро, поэтому ждал без особого энтузиазма и внутреннего напряжения. Но все же был, можно сказать, начеку. Ждал не кого-нибудь, а только нового Пушкина, Толстого, Гоголя или кого чуть-чуть поменьше калибром.

А тут судьба подсунула Акима Востроносова. Не хотелось и верить в то, что он гений. Чайникову даже захотелось, чтобы случившееся оказалось ошибкой, пусть бы открытие гения произошло и не сегодня, а в другой раз и был бы это не Аким Востроносов.

Вот такие противоречиво сменявшие друг друга чувства пережил в тот день Чайников.

Но что он мог поделать? Не в его власти было что-либо изменить. Потому что факты, как говорится, упрямая вещь. И наш герой не смел с ними не считаться, тем более не вправе был игнорировать.

Окончательно успокоившись, он с трезвой отчетливостью прочитал название произведения Акима Востроносова. На титульном листе рукописи значилось: «Наше время» и под этим в скобах – (повесть). Рукопись была невелика – листов 6–7. Аскольд посмотрел в самый конец ее – повествование заканчивалось на 168-й странице.

Чайников принялся читать рукопись, но это ему, откровенно говоря, плохо удавалось. После пережитого волнения общая нить каким-то непостижим образом ускользала, хотя и чувствовалась профессиональная гладкость письма, осязаемость описания, не очень броский, но отчетливо осязаемый колорит деталей.

Дальнейшее чтение Чайников вынужден был отложить. Он все еще чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке и понимал, что рукопись сейчас ему не одолеть.

Когда работа не ладится, когда из рук все валится, именно в это время и охватывает жажда действовать, что-то предпринять, в чем-то найти разрядку. Но что именно следовало в данную минуту предпринять, Аскольд как-то не мог сообразить и потому действовал почти неосознанно. Зачем-то вдруг взял и позвонил домой, спросил совершенно по-дурацки жену:

– Мусенька, ты как сегодня?

– Что как? – не поняла жена.

– Ну, вообще...

– Что вообще? – раздражаясь, переспросила жена. Но в ответ услышала лишь взволнованное сопение и, чуть послушав это сопение, спросила: – Уж не хватанул ли ты с кем с утра? Умоляю тебя, Аскольд, не скатись к прежнему. Умоляю!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.